

Г. А. ДЖАНШИЕВ

ЭПОХА
ВЕЛИКИХ РЕФОРМ

Том 1



ТЕРРИТОРИЯ БУДУЩЕГО

Григорий Джаншиев

**Эпоха великих реформ.
Исторические справки.
В двух томах. Том 1**

«Территория будущего»

Джаншиев Г. А.

Эпоха великих реформ. Исторические справки. В двух томах. Том 1 / Г. А. Джаншиев — «Территория будущего»,

Григорий Джаншиев одним из первых начал изучение истории судебной реформы и вообще преобразований шестидесятих годов. Различным сторонам этой эпохи он посвятил несколько крупных монографий и написал ряд биографических этюдов о выдающихся деятелях крестьянской и судебной реформы. Свои статьи он собрал в книге «Из эпохи великих реформ», которое было подготовлено и издано к 30-летию юбилею Великих реформ (1891 г.) Далее в течение 16 лет книга выдержала десять изданий, что блестяще иллюстрирует ее популярность и значение. «Эпоха Великих Реформ» вышла в 1892 г. и выдержала с тех пор ряд изданий, при жизни автора постепенно дополнявшихся. Эта книга была весьма популярна не только среди видных судей, юристов и видных русских деятелей, но и среди зарубежной общественности и среди широких масс. Издание сыграло серьезную общественно-воспитательную роль как единственная история реформ царствования Александра II. Девятое издание, вышедшее в 1905 году, являлось одним из самых дополненных и пересмотренных, к тому же оно стало первым изданием Литературного Фонда.

Содержание

Григорий Аветович Джаншиев	5
Автобиографические данные о Г. А. Джаншиеве	18
Предисловие к 1-му изданию	21
Предисловие ко 2-му изданию	22
Предисловие к 3-му изданию	24
Накануне пересмотра судебных уставов и новелл	27
Новый фазис работ судебной комиссии	35
P. S. из предисловия к 7-му изданию[59]	41
К 40-й годовщине смерти Грановского (1855 – 4 октября 1895)	43
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Григорий Аветович Джаншиев

Эпоха великих реформ.

Исторические справки

В двух томах. Том 1

Григорий Аветович Джаншиев
(17 мая 1851 – 17 июля 1900)

В последние годы жизни Г. А. Джаншиева я близко знал его и теперь, когда мне приходится о нем писать, мне трудно относиться к нему только как к писателю и человеку, которого обрисовывают по книгам и документам. Для меня с воспоминанием о Джаншиеве связано нечто гораздо большее, и я считаю необходимым во имя исторической правды оговорить это с самого начала. Заветы этой исторической правды я, конечно, помню очень хорошо, но ведь иногда человек не волен над своим сознанием.

Лет восемь тому назад, студентом, я впервые попал на вечер к своим знакомым. Народу было много, о гостях заботились не очень, и я стал искать знакомую физиономию, чтобы куда-нибудь приткнуться. В одном углу в оживленной беседе сидел профессор, которого я хорошо знал, и я поспешил пристроиться около него. Рассеянно пожав мне руку, он продолжал свой спор с собеседником, который сразу приковал к себе мое внимание. Маленький, сильно сутулый, с живыми, умными, веселыми глазами, очень подвижный, он сидел за столом, из-за которого едва виднелась его голова. Спор шел о каком-то злободневном вопросе, помнится, о том, нужно ли открывать в Москве женские медицинские курсы. Старый профессор спорил солидно, деловито, как в ученом обществе, и точка зрения его – он настаивал на необходимости курсов – была вполне правильная; я ему во всяком случае сочувствовал. Но чем дальше подвигался спор, тем более я убеждался, что курсы в Москве открывать преждевременно. На все аргументы старого профессора маленький человек из-за стола отвечал так искусно, так легко отражал его самые серьезные доводы, так неожиданно осыпал его кучею парадоксов и сбивал с самой неприступной позиции, что опытный в дебатах старик путался все больше и больше. Вначале ему еще удавалось распутывать тонкую сеть, в которую ловил его противник, но потом он начал сердиться и должен был бы сдаться, если бы всех не позвали к чаю. Мне этот спор напомнил... Саламинское сражение, как оно описано у Иловайского: тяжелые, неповоротливые персидские корабли, легкие греческие триремы нападают одновременно со всех сторон и проч. Я тут же познакомился с маленьким человеком, приведшим меня в такое восхищение. Это был Григорий Аветович Джаншиев. И чем больше я узнавал его, тем больше убеждался, какой это ловкий и искусный боец против всевозможных тяжелых кораблей, которые нужно топить и которые свободно плавают по обширному морю русской общественности¹.

Джаншиев всю жизнь был болен. У него был искривлен позвоночник, он дышал очень ненадежными легкими, имел плохое сердце. С тремя такими постоянными спутниками другой отравил бы жизнь и себе, и всем окружающим. Таков уж закон природы, что больные вечно ворчат, жалуются и всем надоедают разговорами о своей болезни. К ним, конечно, относятся с

¹ Настоящий очерк не преследует биографических целей. Все главные факты жизни Джаншиева приводятся в его «Автобиографии», напечатанной ниже. Эта заметка составлена им для «Критико-биографического словаря русских писателей» С. А. Венгерова, которым и сообщена Литературному фонду.

состраданием, выражают всяческое сочувствие, но стараются держаться подальше. Джаншиев представлял очень редкое исключение из этого правила: он был всеобщим любимцем. Это потому, что он всегда был весел, всегда был остроумен, всегда был оживлен. В его больное тело природа по какому-то странному капризу вложила необыкновенную жизнерадостность. Эта жизнерадостность была главной особенностью его темперамента. Она сказывалась и в работе, и в общественной жизни, и в общении с людьми. Ею объясняются такие черты Джаншиева-писателя, как оптимизм; она продиктовала ему девиз *dum spiro spero*, который был *motto* и его лучшей книги, и всей его жизни.

Нигде жизнерадостность Джаншиева не сказывалась так ярко, как в обществе близких ему людей. Тут он был весел, как ребенок, веселил всех, выкидывал над друзьями самые необыкновенные штуки, как будто бы ему было не пятьдесят лет, а пятнадцать. Ему ничего не стоило, например, заставить на первое апреля приятеля с букетом в руках скакать на извозчике по всем московским вокзалам, уверив его, что приезжает хорошая знакомая, или с утра переполошить всех вестью о том, что приехал из-за границы М. М. Ковалевский, который будет-де обедать у него в 5 часов. Другья Ковалевского, безуспешно проискав его по Москве в течение целого дня, собирались вечером к Джаншиеву, где все разъяснялось, и за бутылкой какого-то особенного кахетинского вина, которое специально выписывалось из Тифлиса, забывали добродушно подсмеивавшемуся амфитриону его проделку. В кругу молодежи Джаншиев был еще более весел и всегда жалел, что он не может бегать и скакать наравне со всеми. И молодежь его обожала; его постоянно теребили, к нему приставали, чтобы он выдумал что-нибудь, чтобы рассказал что-нибудь, ему смотрели в рот, чтобы на лету поймать остроту на каком-нибудь европейском или – что производило еще больший эффект – на восточном языке. *Dulce est desipere in loco* – этот горациевский девиз имел в Джаншиеве одного из самых горячих сторонников. Отдаваясь веселью или развлечению, он забывал обо всем: о делах, о своих планах, о неприятностях, которых у него было не меньше, чем у всякого другого. И своим весельем он заражал всех. Но способностью заражать окружающих своим настроением он обладал не только в моменты развлечений. В нем сидел какой-то зуд, заставлявший его непременно добиваться, чтобы настроение окружающих звучало в унисон с его собственным. И он умел этого добиваться. Если ему бывало хорошо, бывало хорошо и всем. Даже своим писанием он сообщил эту драгоценную способность заражать читателя, передавать ему одушевлявшие его самого мечты и идеалы, поднимать его общественное самочувствие на несколько градусов выше обыденного уровня.

«Прочтите его многочисленные туристские воспоминания, которыми он так любил делиться с публикою, прочтите его еще более многочисленные отклики на самые мелкие явления русской общественной жизни, – он весь тут со всеми своими симпатиями и антипатиями, такими определенными, такими последовательными, что вы сами могли бы их предсказать, зная исходные аксиомы его политического мышления; он перед вами волнуется, перед вами негодует, перед вами приходит в восторг или умиление; и сами того не замечая, еще прежде, чем вы успеете проверить его мнение, вы уже заразитесь его радостями, его печалью просто потому, что они всегда так искренни, так лишены всякой рисовки и позы, ну и, конечно, потому еще, что они совпадают с вашими собственными радостями и печалью, если вы культурный русский человек. Только подчас Джаншиев пристыдит вас яркостью и силой этих своих симпатий и антипатий. Пессимист, конечно, примет за наивность эту яркость и силу, педант обзовет их легкомыслием; но это нисколько не помешает вам, если вы не педанты и не пессимисты, от души порадоваться, что есть еще в сердце русского обывателя такие залежи жизненной силы, такая свежая способность реагировать на впечатления общественной жизни; вы будете

рады погреться у этого неостывающего пламенного очага, вы уйдете от него освеженный и согретый и, следовательно, благодарный»².

Понятно, что при таком темпераменте и оптимизм Джаншиева должен был носить особый отпечаток – отпечаток деятельности. Его девиз – *dum spiro spero*. Он к нему постоянно возвращается; но, повторяя его в предисловии к седьмому изданию «Эпохи реформ» через шесть лет после того, как эта латинская поговорка впервые пришла ему на память, Джаншиев прибавляет: «*Dum spiro spero*, – но, конечно, при одном условии: при неустанной и бодрой работе всех, кому дороги заветы Белинского, кому дороги гуманно-освободительные принципы преобразовательной эпохи». В таком оптимизме нет ничего мертвого; он зовет к жизни, к хорошему, прогрессивному делу, он полон энергии.

Мы скоро увидим, что были способны сделать эти неисчерпаемые жизненные силы, горевшие таким ярким пламенем в маленьком хилом теле Григория Аветовича. Посмотрим сначала, как они накопились. Источники его бодрости очень обыкновенные. Они доступны всякому, только не всякий, черпая из них, получает те ощущения, которые выносил Джаншиев, ибо не у всякого найдется его чистая и абсолютно чуждая житейской пошлости душа. Этих источников два: великие создания человеческого гения и природа.

В истории мысли довольно правильно, как кажется, воспроизводится одно явление. В критический общественный момент лучшие люди обращаются к науке и стараются в ней найти ответы на назревшие вопросы действительности. В этих случаях науку иногда даже отождествляют с добродетелью, с моральным началом. Так было в Афинах при Сократе, так было в XVIII в. в Европе, так было у нас. Наш позитивизм, который, начиная с шестидесятых годов, был философией прогрессивных частей русского общества, по самому своему существу должен был высоко ценить научное начало, и среди его представителей не трудно указать многих, которые склонны отождествлять науку с нравственностью. Таков, например, несомненно, был Писарев. Для Джаншиева, который с университетской скамьи (см. автобиографию) был убежденным и последовательным позитивистом, наука тем не менее не покрывала морального элемента; нравственному идеалу он ставил гораздо более высокие требования. В одном месте он бросает мимоходом характерную в этом отношении фразу: «Еще Аристотель заметил в своей „Политике“, что когда ум и знания не сопровождаются нравственным развитием, то знания в руках человека могут причинить много зла. Жизнь подтверждает это давнишнее наблюдение». Тем не менее Джаншиев относился и к науке со своим обычным энтузиазмом, считая ее могучим орудием прогресса. «Перед этой великой силой, – пишет он в одном месте, – под действием которой камни начинают говорить, нельзя не преклоняться всем временам и народам. И не лихом, а добром может помянуть человечество Прометея, похитившего с неба пламень знания. . . Пусть всепожирающий пламень знания. . . познакомил человечество со страданиями, неведомыми нетронутым детям природы, а все же прав поэт, сказавший, что

«При мысли одной, что я человек,
Неволью душой возвышаюсь», —

потому что лучше быть несчастным Сократом, страждущим Дон-Кихотом, чем торжествующей свиньей».

Хулителей науки, от времени до времени оповещающих мир о ее банкротстве, Джаншиев не любил почти так же сильно, как врагов свободы, а так как в нашем отечестве оба эти амплуа обыкновенно соединяются в одних руках, то полемическая задача Джаншиева значительно упрощалась. Заклеймить служителей или добровольцев мракобесия значило мстить и за поруганную свободу, и за дискредитируемую науку.

² Из речи П. М. Милюкова «Памяти Г. А. Джаншиева». «Рус. Вед.», декабрь 1900 г.

И это преклонение перед наукою было у Джаншиева не только общественно-политическим лозунгом, Джаншиев не только ценил в науке прогрессивную силу. Не будучи ученым, в обыкновенном смысле этого слова, Джаншиев умел черпать из сокровищницы науки все то, что необходимо культурному человеку в качестве составной части его мировоззрения. И он знал гораздо больше, чем казалось на первый взгляд, но он не любил выставлять напоказ «эрудицию», а предпочитал перерабатывать свои знания и пускать их в ход в виде легких, более удобных для восприятия и поэтому более действительных, в качестве агитационного средства, положений.

В том же удивительном механизме, который так хорошо перемалывал твердые семена чистой науки, обрабатывался и другой материал-поэзия.

Всякий, хотя бы поверхностно знакомый с писаниями Джаншиева, знает, что они весьма основательно, иногда даже через меру, сдобрены всякими прозаическими и стихотворными цитатами. Но даже те, которые находят, что этих цитат могло бы быть меньше, должны сознаться, что они приведены удивительно к месту, что порою даже кажется, что автору пришел сначала в голову стих поэта, и лишь потом он формулировал мысль, для иллюстрации которой приведен этот самый стих. Мне думается, что это так и было.

У Джаншиева была большая память, и он очень любил читать и перечитывать лучших поэтов, русских и западных. Нет ничего удивительного, что образы и стихи постоянно осаждали его сознание во время работы, неотвязно лезли под перо, чуть не сами вырисовывались на бумаге вперемежку между строками его легкой и изящной прозы. В разговоре Джаншиев сыпал стихами еще больше с тою только разницею, что тут были не только чужие, но и свои³.

Да и помимо стихов, разве в каждой строке, написанной Джаншиевым, не заметно влияние художественной литературы. Образность языка, выпуклость характеристик, тонкость и остроумие полемических страниц, самый пафос Джаншиева – все это разве не есть результат постоянного общения с поэзией? Это была такая пища для души, без которой Джаншиев не прожил бы и дня.

Другой, не менее необходимой, пищей для него было искусство. Кто хоть однажды побывал в его огромном кабинете, с первого раза безошибочно мог определить вкусы хозяина. Вся комната была увешана фотографическими снимками с лучших произведений скульптуры, многие фигурировали в нескольких видах, а прямо перед входной дверью висели две превосходных громадных фотографии Венеры Милосской и Праксителя Гермеса, статуи, которые Джаншиев считал прекраснейшими произведениями пластического гения Эллады. Столы были завалены папками и альбомами со всевозможными художественными снимками, эстампами, гравюрами, и когда Джаншиев начинал рассказывать о них, у него разгорались глаза, он воодушевлялся и готов был говорить без конца, если бы слушатели не убирали папок и не увлекали бы его в другой угол кабинета⁴.

Однако все эти коллекции имели для него цену лишь постольку, поскольку они напоминали ему оригиналы, которые он смотрел во время странствований по лучшим хранилищам Европы. Если он долго не видел, например, Венеры Милосской, он прямо начинал тосковать, и его уже снова тянуло в Лувр еще раз взглянуть на нее.

Путешествия он и любил именно потому, что в них соединялось для него два источника мысли и наслаждений: произведения искусства и красоты природы.

Я советую читателю пробежать хотя бы, например, «Перл Кавказа» или «Баловней и пасынков природы», если только он их еще не знает. Времени у него уйдет не много и он о нем не пожалеет.

³ Кое-что из его стихотворных опытов напечатано в «Братской помощи». См. 2-е изд. с. 343 «Из Гая Армена» и с. 351 оригинальное стихотворение «У Парфенона». Одно подписано А. Ветов, другое Г. И. Милов.

⁴ Подбор картин был почти исключительно классический. Джаншиев не признавал «новых» веяний в искусстве.

Конечно, в литературе можно найти описания ярче джаншиевских, картины более увлекательные. Красок в его палитре мало, если припомнить, например, хотя бы пейзажи Гоголя, Тургенева, Короленко, – словом, больших поэтов. Но ведь Джаншиев только турист... И потом, в его путевых очерках имеется одна особенность, которая долго еще будет привлекать к ним внимание.

Когда у нового человека – это было давно, в эпоху так называемого Возрождения, – проснулся интерес к самому себе, к своему внутреннему миру, он впервые почувствовал интерес и к природе: его глазам впервые раскрылась красота, щедрою рукою разлитая вокруг него великим Демиургом и раньше им не замечаемая. Эта тесная связь между культом личного начала и пониманием природы, так ярко раскрывшаяся в то время, необыкновенно характерна. И умение понимать природу является одним из показателей культурной высоты человека. Джаншиев всегда прекрасно понимал это, ощущал действие природы на собственном «я» и придавал ему огромное, не только моральное, но и общественное, значение. «В чем же, – спрашивает он однажды, – суть и главная привлекательная сторона этих впечатлений? В том, что под действием их духовный мир человека как-то укрепляется, проясняется, как бы окрыляется, совлекая с себя, увы, только временно, бремя и накипь вседневной пошлости, мелочности, эгоизма „самообожания“».

Но этого мало. Несколько ниже Джаншиев продолжает: «Быть может, я совершенно заблуждаюсь, но я глубоко верю и вполне убежден, что распространение в массах любви к природе, умения наблюдать ее, понимать и ценить ее дивные красоты – наравне с столь могуче проявившимся в последние два десятилетия среди англо-американского общества обоих полушарий стремлением открыть (народу) желанный доступ к высшим в мире наслаждениям, даруемым наукой и искусством, должны служить вернейшими двигателями прогресса и ослабления антагонизма между богатыми и бедными!»

Едва ли общественное неравенство и классовые противоречия могут быть устранены или даже только ослаблены теми способами, о которых упоминает тут Джаншиев, но для него характерна та глубокая вера, с которой он об этом говорит. В его устах это не фраза; это частичка его самых святых убеждений.

Приглядимся к этим убеждениям несколько более пристально.

Когда Джаншиев стал систематически работать в периодических изданиях, не ограничиваясь специально судебными вопросами, уже давно прошло то праздничное оживление, которое было вызвано эпохой реформ. В то время (конец семидесятых годов) уже начиналась ломка и на сцене появлялись такие элементы, которые раньше сидели по норам, а теперь обрадовались и полезли на свет Божий, чуя всякие приятные для себя запахи. Формировалась новая порода людей – восьмидесятник начинал занимать сцену и готовился к проповеди откровенного эгоизма в личной жизни и оппортунизма в общественно-политических делах.

Политическое мировоззрение Джаншиева, в общем, сложилось гораздо раньше. Еще безусым абитуриентом гимназии он сознательно отказался поступить на тот факультет, в который его тянуло – историко-филологический; его отпугивала прочно приставшая к нему этикетка «ретроградства и обскурантизма». Но в отдельных вопросах у него ни в это время, ни по окончании университета не всегда были твердо установившиеся взгляды. Частью они у него складывались потом под различными влияниями. Жизнь учила; уроки, которые давала действительность второй половины семидесятых годов, были необыкновенно красноречивы, и у всякого честного человека вызывали только одно отношение.

Как юрист Джаншиев неоднократно имел случай сопоставлять положение суда и принципы законодательства в эпоху, непосредственно следовавшую за изданием судебных уставов, и в то время, какое он переживал. Сравнение выходило поучительное, заставляло задумываться, возбуждало мысль. Неприглядная действительность все чаще и чаще принуждала

искать отдохновения в минувшем, помянуть борцов за новый суд. Так, мало-помалу, возникали сначала статьи, потом книги⁵. От судебной реформы взор невольно обращался к другим реформам 60-х гг. и к самой главной – крестьянской; потом крестьянская реформа выдвигалась на первый план и становилась центром изучения...

В этих «исторических справках», к которым все с большей и большей силою гнала его действительность, Джаншиев постепенно сделался тем человеком, которого знает Россия по «Эпохе реформ» – последовательным и стойким сторонником тех принципов, из которых выросло все движение шестидесятых годов⁶.

Евангелие Джаншиева – евангелие лучших представителей русского либерализма. Свобода – его бог. «Дайте свободу, остальное приложится», – говорит он, понимая под свободой – свободу личности, слова, мысли, союзов. Это убеждение сидело в нем крепко. Когда ему говорили, что либеральной программы по нынешним временам мало, он отвечал, что Россия не доросла до более радикальных, что те возникли на почве более сложных общественных отношений Запада и нам не годятся. На этой почве он не уступал ни пяди. Когда его противники выкладывали ему целую литературу, начиная с Коммунистического Манифеста и кончая последними памфлетами, Джаншиев улыбался и добродушно просил позволить «старому либералу» помереть в собственной вере. Крепкая и горячая была та вера. На Босфоре он любуется ярким ночным небом и, смотря на Полярную звезду, думает, что она все еще шлет на землю луч времен крепостничества, и что настоящий свободный луч, пустившийся в путь в 1861 г., доберется до нашей планеты только в 1911 г. Около Земмеринга в долине Мура он увидел из окна вагона пару волов, запряженных в конскую упряжку – и ничего больше. А послушайте, что он говорит: «Меня всегда поражал господствующий у нас на всем юге варварский способ запряжки волов. Огромное тяжелое ярмо давит и режет шею несчастному животному. К кому я ни обращался, отовсюду получал один и тот же ответ: вол к ярму привык и без него не пойдет. Дивился я такой странной любви вола к ярму, но должен был пожертвовать своей завиральной либеральной доктриной в пользу факта и непреложной традиции... И вдруг я увидел в долине Мура осуществленную мою детскую мечту... С точки зрения эстетической, может быть, лошадиная упряжь корове и нейдет, но что корова с такою упряжью идет вольно и от своей относительной свободы не страдает и не бесится, не подлежит сомнению. Не так ли основательно рассуждают иные о традиционных людских ярмах?»

Но, преклоняясь перед богиней свободы, Джаншиев, не в пример некоторым другим старым либералам, понимал, что свобода свободе рознь. Послушайте, что он говорит по этому поводу:

«Свобода! О, кто не падет ниц перед этим вещим словом! Но кто вместе с тем не вспомнит те бесчисленные и бесконечные злоупотребления, которые творились и творятся во имя этого понятия? Не следует забывать, что il y a fagots et fagots. Все дело в том, как понимать свободу. Когда кулак-миллионер восстает против вмешательства власти в отношения его к рабочим, во имя чего он отстаивает свои эксплуататорские вожеления? Во имя свободы, прославленной поэтами. Во имя чего ростовщик-кровопийца возражает против узаконенных процентов? Во имя той же дорогой, но часто оскверняемой свободы...»

Как видит читатель, Джаншиев совершенно не боится таких жупелов вульгарного буржуазного либерализма, как «вмешательство» и – этого я не нашел в его писаниях, но в беседах

⁵ «Страница из истории судебной реформы. Д. Н. Замятины». М., 1883; «С.И.Зарудный и судебная реформа». М., 1889.

⁶ Говоря об общественных взглядах Джаншиева, я, как легко увидят читатели, в сущности, мало прибавляю к мастерской характеристике их, сделанной П. Н. Милюковым. См. его фельетон в «Русских Ведомостях» в одном из декабрьских номеров 1900 года.

он часто об этом говорил – готов сделать некоторые уступки демократической точке зрения. Очищенная этим сократическим методом идея свободы становится уже с любой точки зрения высоким девизом.

Кто враг свободы, тот личный враг Джаншиева. Живой или мертвый, русский или иностранец – ему все равно. Грех против свободы по его политической религии не прощается никому. К мертвому Аракчеву он относится с такой же глубокой ненавистью, как и к живому Бисмарку. Каткова он не оставлял в покое и за гробом. Зато люди, оказавшие свободе услугу, хотя бы и самую незначительную, пользуются такой же горячей любовью Джаншиева. Он воспеваает их в юбилейных и скорбных справках, постоянно возвращается к освещению их роли в истории русского самосознания. Очень часто он соединяет обе задачи: обрушившись со всей силою своего сарказма на какого-нибудь апостола реакции, из Ахиллеса вдруг становится Омиром и начинает петь славу апостолу свободы.

И никогда ему не казалось, что он чересчур много поет славу. Поневоле приходится повторять, – говорил он, – хороших людей так мало!» У него была настоящая потребность от времени до времени излить одушевлявшие его чувства на восхвалении какого-нибудь крупного единомышленника, а если ему не представлялось удобного случая для юбилейной «справки», он принимался за славных мертвецов: Белинского, Грановского, корифеев эпохи реформ. Читатели *«Русских Ведомостей»* привыкли к тому, что в годовщину каждой крупной реформы в газете будет помещен фельетон Джаншиева или передовая статья, в которой они легко узнавали его руку. Нужны были очень серьезные причины, чтобы Джаншиев пропустил какой-нибудь такой юбилей без своей традиционной справки. Он придавал подобным заметкам большое значение. «Это капли воды, которые точат камень нашего индифферентизма», – говорил он. И он был, мне кажется, вполне прав.

Окончив университет и вступив в адвокатуру, Джаншиев первоначально был далек от мысли, что он когда-нибудь сделается писателем. Был только один признак, который предсказывал его будущую литературскую карьеру довольно безошибочно, но Джаншиев, по-видимому, позабыл о нем. Это была четверка по русскому сочинению в гимназическом аттестате, единственная в сонме пятерок. А ведь давно известно, что наши гимназические педагоги имеют в этом отношении отличное чутье – они наверняка отмечают плохим баллом способного, но не укладывающегося в шаблон ученика. Словом, почему бы то ни было Джаншиев в начале и не помышлял о литературной деятельности и сделался литератором, как видно из «автобиографии», случайно⁷. И первое время он писал исключительно по юридическим вопросам, притом вопросам специального свойства, для обыкновенного читателя весьма неудобоваримым. Но мало-помалу Джаншиев втянулся и понял, что литература и есть его настоящее призвание, что посредством литературы он сумеет легче и лучше, чем каким бы то ни было другим путем, проповедовать массе свои идеалы. Такое соображение было для него решающим. Он был не из тех, которые думают для себя, для которых научные и общественные вопросы ценны главным образом по своей внутренней объективной сущности. Джаншиев думал, учился, страдал над «проклятыми» вопросами для того, чтобы поделиться результатами своей работы со всеми. Нетерпеливый и экспансивный, как всякий южанин, он был великолепным пропагандистом, и это свойство его беспокойной натуры главным образом и сделало из него автора «Эпохи реформ», книги, которая, несмотря на свою увесистость, работала не хуже агитационной брошюры.

⁷ Потом Джаншиев острил, что за свою первую статью в «Судебном Вестнике» он не только получил причитающийся ему гонорар, но был даже возведен в графское достоинство. Дело в том, что он подписался «Гр. Джаншиев», а в редакции из «Григория» ничтоже сумняшеся сделали «графа». «Это первый и единственный известный мне случай пожалования титула за литературную работу», – добавлял обыкновенно Джаншиев, очень любивший рассказывать про этот эпизод.

У Джаншиева были вполне определенные взгляды на задачи русского публициста. Он отлично понимал исторический момент, в который ему пришлось жить, прекрасно знал ту публику, среди которой он своими писаниями вербовал друзей принципам либерализма.

Он думал, что обычное представление о «читателе», этом незнакомце, близким знакомством, с которым хвалится всякий приобщенный к литературе, совершенно неправильно. Отчасти из собственного опыта, отчасти из опыта других, он выносил то впечатление, что «читатель» знает вовсе не так много, как предполагает «писатель» и что средний уровень умственного развития его гораздо ниже, чем принято думать. Джаншиев шутил, что литераторы льстят читателю для облегчения собственной задачи; они притворяются, что читатель все поймет, что бы они ни писали, потому что если бы они представляли себе читателя таким, каков он на самом деле, то им пришлось бы обрабатывать свои писания гораздо тщательнее.

И Джаншиев всегда писал для такого читателя. Он не стеснялся разжевывать ему простую мысль, ему не казалось неловким прерывать ход мыслей патетическими восклицаниями и яркими эпитетами, он заботливо расставлял скамеечки для легко утомляющейся мысли – стихи, беллетристические эпизоды, интересные рассказы. И читатель, расхватывавший ежегодно по целому изданию «Эпохи реформ», блистательно доказал, что Джаншиев не ошибался, думая, что для него нужно писать не совсем так, как обыкновенно пишет журнальная братия.

Победителей не сулят! Когда теперь пробегаешь «Эпоху», ее страницы кажутся написанными *ad usum Delphini*. Иного это и покоробит, но тень Джаншиева может быть спокойна: ни один человек, у которого есть хоть кое-какое чутье, не поставит ему в упрек ни приподнятого тона, ни старательного облегчения задачи читателя. Книга, несомненно, сделала свое дело. Нужно помнить, в какой момент она появилась в свет. Это было в 1891 г. Пора была поистине критическая. Ломка здания шестидесятых годов находилась в полном разгаре. Грозило рухнуть даже то, что пережило кладбищенски унылую эпоху восьмидесятых годов. Здоровые организмы стали обезображиваться: на них появились различные темные и болезненные наросты... Тогда-то Джаншиев заговорил о шестидесятых годах; тогда стали воскресать под его пером светлые образы деятелей этой эпохи: общество вновь услышало забытые слова, ему вновь в увлекательном изложении напомнили о забытых славных принципах; с книги повеяло живительным дыханием былого радостного возбуждения.

Именно такой язык, которым говорил Джаншиев, именно тот дух, которым насыщена его книга, были необходимы тогда обществу. О шестидесятых годах, конечно, знали, но нужен был поэт, чтобы славная эпоха ожила, нужно было заразительно бодрое настроение, чтобы помешать искусственно навеваемому сну сковать наше общество, чтобы не дать индифферентизму и отчаянию охватить его. «Эпоха реформ» сделала много в этом отношении.

Джаншиев не мог писать иначе, когда ему приходилось говорить о таких вещах. Его тон подсказывался ему его верою, его неизменным жизнерадостным и бодрым настроением. Он был глубоко убежден в том, что светлое настроение шестидесятых годов вернется, что те явления, с которыми в девяностых годах приходится сталкиваться на каждом шагу – преходящие явления, что эволюция русской общественной и политической жизни неуклонно идет к идеалам, одушевлявшим его и его друзей. Он не знал, что такое уныние, и деятельно боролся с пессимизмом друзей, которые находили, что могло бы быть и получше. «Эпоха реформ» не только отражает настроение Джаншиева, она сохранила и ту способность, за которую все так любили ее автора – способность не давать падать духом.

В наше время эта способность, пожалуй, еще драгоценнее, чем в девяностых годах. Теперь бодрящий голос еще нужнее, чем тогда, и вот почему, думается, можно бы смело поставить на книге старый эпитафия: «*vertite manu diurna, vertite nocturna*». За этот бодрый тон можно простить ей ее чисто научные недочеты.

«Эпоха реформ» – не труд историка в собственном смысле. Читатель напрасно стал бы искать в ней всестороннего освещения различных моментов движения шестидесятых годов.

Очерк подготовки реформ – почти отсутствует, истолкования классового характера крестьянской реформы нет совершенно, экономические предпосылки ее не выяснены. Словом, опущены научные вопросы, правильное решение которых могло бы помочь социологическому истолкованию такого важного факта, как движение шестидесятых годов.

Но Джаншиев и не преследовал этой цели. Он вполне сознательно ограничил свою задачу прагматическим очерком, потому что писал не научный трактат, а памфлет. В последних изданиях книга стала несколько грузна для памфлета, но основной характер ее от этого не изменился.

Научная разработка истории шестидесятых годов шла и идет независимо от Джаншиева, но в «Эпохе реформ», думается, есть нечто, не уступающее по важности правильной постановке и правильному решению научной задачи. Она примыкает к довольно многочисленной в историографии семье книг, лучшим представителем которой является «История революции» Мишле. Так же, как и «Эпоха реформ», книга Мишле слаба в научном отношении, но ее картинность и энтузиазм, которым она проникнута, сыграли крупную общественную роль в истории Франции. Не сопоставляя талант обоих писателей, нельзя не признать, что «Эпоха реформ» близкая родственница «Истории революции». И я думаю, что почетный титул «первого историка эпохи великих реформ», который дан Джаншиеву таким компетентным судьей, как П. Н. Милюков, вполне им заслужен, несмотря на научные пробелы книги.

В «Эпохе великих реформ» Джаншиев делал не столько научное, сколько общественное дело, был прежде всего публицистом, как был публицистом во всех своих писаниях, не исключая путевых очерков. Он не мог иначе. Так уж у него была устроена голова, что он все, о чем думал и о чем говорил, прикидывал на общественную мерку. Потому-то его так и любят все, кто любит принципы света и свободы; потому-то его так и ненавидят все, чьим мелким и грязным делишкам мешают и свет, и свобода. Сколько доносов сыпалось на Джаншиева со страниц органов полицейского сыска, сколько ругательств и клеветы приходилось ему выслушивать со столбцов казенно-шовинистских изданий. Он был даже однажды вызван на дуэль: очень уж больно хлестнуло его меткое слово одного из «ученых» ремесленников⁸.

Публицист Джаншиев может не жалеть о том, что он не был настоящим историком. Он сделал своим публицистическим пером столько, сколько редкий историк сделает своими учеными исследованиями. Восемь изданий «Эпохи реформ» – пьедестал достаточно высокий, а пьедестал Джаншиева составил не только из «Эпохи реформ».

Публицистика захватывала Джаншиева все больше и больше, но, постоянно сокращая свою адвокатскую практику, он продолжал горячо интересоваться вопросами организации суда, теми учреждениями, которые были созданы Судебными Уставами Александра II. Заведая юридическим и судебным отделом в «Русских Ведомостях», он имел случай высказываться по множеству крупных и мелких вопросов⁹.

Я не буду рассматривать их все и остановлюсь лишь на двух вопросах, которые для самого Джаншиева казались наиболее интересными. Им он посвятил по отдельной книжке. Я имею в виду «Ведение неправых дел» и «Суд над судом присяжных».

«Ведение неправых дел» – этюд по адвокатской этике. Эту книжку следовало бы раздавать бесплатно молодым адвокатам, при принесении ими первой присяги. Она снабдила бы

⁸ Джаншиев совершенно серьезно хотел драться с этим господином, и друзьям стоило довольно больших усилий отговорить его. Тогда он предложил своему противнику суд чести, от которого тот, разумеется, благоразумно уклонился.

⁹ Найти его статьи в газете тем более нетрудно, что главные из них у него были тщательно вырезаны и вклеены в тетради. Мне приходилось видеть эти тетради. Я не знаю, в чьих руках они находятся в настоящее время. Вообще, наследники Джаншиева очень мало заботятся о том, чтобы сделать достоянием публики его многочисленные произведения. Это совершенно непростительно. Даже книги и те частью уже вышли из продажи; о статьях и говорить нечего. Думается, что писания Григория Аветовича заслуживали бы лучшей судьбы.

принципами не одного из нынешних представителей сословия, считающих совесть и честь чем-то в высокой степени ненужным. В этой книжке Джаншиев ярко и горячо восстает против того принципа, что адвокат может браться за защиту по всяким делам, правым и неправым – безразлично. Для него кажется диким, каким образом сенат, своим известным разъяснением по делу Лохвицкого, как бы узаконил такое понимание. Для него адвокат, убежденный в том, что он защищает негодяя и тем не менее принимающий на себя защиту только потому, что тот не совершил ничего противозаконного и наказуемого, – такой адвокат представляется чем-то поистине чудовищным, каким-то уродом, которому имени нет. Как блестяще разбивает он аргументацию своих противников, которые апеллируют и к сыну Сирахову, и к идее абсолютной морали, чтобы доказать, что в защите неправых дел нет ничего предосудительного. И в этом вопросе Джаншиев мог торжествовать: на его стороне были лучшие наши публицисты и адвокаты, которые хотя об абсолютной нравственности не разговаривают, но отлично знают разницу между тем, что честно и бесчестно.

То же было и в вопросе о суде присяжных. Этот институт всегда был бельмом на глазу у наших обскурантов, потому что он выносил вопрос о преступлении и наказании из бюрократической канцелярии на суд общества, в светлые залы, где громко говорят и по совести решают, виновен человек или нет, где не руководствуются никакими «высшими» соображениями. В середине 90-х гг. гонители суда присяжных что-то особенно освирепели, и на учреждение посыпалось отовсюду столько клеветы и ругани, что можно было опасаться, как бы оно не зашаталось. К счастью, опасения оказались неосновательны. Секция комиссии по пересмотру судебного законодательства, работавшая под председательством А. Ф. Кони, всеми голосами против двух высказалась за сохранение суда присяжных. Один из оставшихся в этом меньшинстве, прокурор Петербургской судебной палаты г. Дейтрих, вздумал излагать свои соображения печатно. Ему-то и прочел отповедь Джаншиев, прихватив, кстати, столь же глубокомысленные размышления «Гражданина». Из полемических газетных статей выросла блестящая апология суда присяжных, которая надолго сохранит свое значение в литературе, наряду со статьями А. Ф. Кони, М. Ф. Громницкого, П. М. Обнинского и других наших лучших юристов.

До сих пор мы видели в Джаншиеве *русского* публициста; читатель, быть может, даже позабыл, что Джаншиев – армянин. И в этом не было бы ничего удивительного. В деятельности его до середины девяностых годов мало что напоминало о его происхождении. Разве только горячий южный темперамент и южная экспансивность указывали на то, что этот человек не дитя холодного севера. В молодости Джаншиев, подобно большинству русских армян, мало следил за событиями, совершавшимися в Оттоманской империи, и редко проявлял свое участие к положению своих турецких братьев. Другие интересы, другие запросы отодвинули на задний план более отдаленный и, по-видимому, более насущный армянский вопрос в Турции. Но он все-таки стал интересоваться им раньше, чем Сасунская резня привлекла к нему всеобщее внимание. В 1891 г. он посетил Константинополь и то, что он увидел в столице султана, показало ему с полнейшей очевидностью, что происходившие там вещи ужасны, что отсутствие активного интереса к положению армян в Турции граничит с моральным позором. В статьях, напечатанных сейчас же по возвращении в Россию в «Русской Мысли», он первый из русских армян попробовал разоблачить своеобразные приемы турецкой администрации и турецкого «правосудия». Для него, как для юриста, проникнутого высоким уважением к идее истинного правосудия и к ее этическим основам, было нестерпимо горько видеть постоянное, систематическое нарушение самых дорогих прав человека, совершающееся потому только, что этот человек не мусульманин, а христианин. Мартиролог жертв турецкого фанатизма был уже и в то время ужасающе велик, и страдания армян, отданных на произвол курдов, вопреки обязательствам Порты по § 61 Берлинского трактата, казались наглою насмешкой над Европой.

Джаншиев много думал над тем, каким образом может быть разрешен армянский вопрос. Я не знаю, приходило ли ему в голову то решение, которое Гладстон считал столь же простым, сколько и неисполнимым: изгнание турок из Армении, но что к другому решению, почти такому же простому, он приходил, это ясно из всего хода его рассуждений. Оно заключалось в возвращении к § 16 Сан-Стефанского договора, но он видел, что это, в конце концов, не решение. Поэтому то, что он предлагает – мера положительная, хотя носит вполне очевидный и вполне сознаваемый характер паллиатива. Джаншиев неоднократно подчеркивает, что армяне не просят, а *требуют* реформ, которые Порта, бог весть сколько раз обязалась ввести, и «ключ к разрешению армянского вопроса» он видит «в исполнении законных требований армян», вытекающих из § 61 Берлинского трактата. Дальнейшие события показали, что и это решение, которое казалось единственным, имеющим практическую ценность, было чистой утопией и, пожалуй, даже хуже, чем утопией.

Всего три – четыре года прошло с тех пор, как Джаншиев писал свою статью, и разыгались в турецкой Армении такие события, от которых содрогнулись даже заправилы европейской дипломатии. Приведенное в ужас общественное мнение Европы потребовало от правительств, чтобы был положен конец этому позору культуры, чтобы были обузданы расходившиеся страсти диких сынов Ислама. В Англии заговорил великий старец, молчавший во время полного разгрома своей партии, и теперь нашедший в себе силы побороть болезнь и выступить на святое дело гуманности. Властное *довольно!* – сковало руки убийц, и Порта поняла, что теперь не время пускать в ход темные средства своей политики. Прекратилась резня... но целые области, цветущие еще накануне, дымились в развалинах; томились в гаремах армянские женщины и девушки, на обуглившись остатках жилищ тлели 300 000 трупов и тут же справляли дикую тризну курды и регулярные войска.

Что было делать при этих условиях русскому армянину, единственным оружием которого было перо? Что мог он сделать? Немного! Джаншиев взялся за дело с таким рвением, как будто хотел наверстать все, что мог сделать раньше и не сделал, с такой энергией, как будто предчувствовал, что ему суждено работать недолго. И то, что ему удалось осуществить в четыре года – было достаточно, чтобы другому наполнить жизнь. В газетах он печатал статьи, хватающие за душу, но газетных статей было мало; он это понимал. Нужно было осветить факт со всех сторон, выяснить размеры погрома, разоблачить истинных виновников и инициаторов политики истребления. Только при этих условиях можно было рассчитывать привлечь сочувствие общества к делу армян, уверить скептиков, убедить предубежденных. Он и сделал это. Изданная им книга «Положение армян в Турции до вмешательства держав» – это поистине «книга крови и слез», как назвал ее один из предубежденных, обращенный ею. В средние века она вызвала бы крестовый поход; в конце XIX в. она произвела переворот во взглядах русского общества, переворот, плоды которого Джаншиев пожал при издании «Братской Помощи».

Когда утихла в Армении кровавая гроза и стали измерять ее результаты, то оказалось, что немедленно необходима самая щедрая, самая обильная помощь: нужно было спасать тех, кто пережил погром и кто без помощи мог сделаться жертвою голода, нужно было беречь жизнь 150000 сирот, следовательно, нужны были деньги. И деньги широкой волною потекли из Европы, из Америки, из России. В России Джаншиев сделал больше, чем кто-нибудь другой. Убедившись, что помощь требуется систематическая, постоянная, не случайная, что суммы, доставляемой приютам, далеко не хватает на призрение сирот, он решил организовать правильную помощь из России.

Это простое решение было великим подвигом. Для него дело было осуществимо, конечно, в виде литературного издания, но наряду с чисто литературной работой, оно потребовало от него забот и хлопот, далеко выходящих из рамок писательской, редакторской и даже издательской деятельности. Он дважды начинал и оба раза доводил до конца свое предприятие исключительно один; помощников у него не было: он не хотел ни с кем делиться честью послу-

жить своему народу и мягко, но категорически отклонял услуги, предлагавшиеся многочисленными друзьями. Каждый вечер его можно было застать в его кабинете, на его высоком стуле, за рукописями, за корректурами, за расстановкою клише, за письмами. Взявшись за дело, он не жалел ни своих слабых сил, ни скудного запаса своего здоровья: он писал, правил, подписывал к печати, ездил, отстаивал в цензуре каждую строку – и, наконец, выпустил в свет первое издание своей славной «Братской Помощи». Вот тут-то и начались настоящие хлопоты. Джаншиев превратился в ходока, в сборщика пожертвований, требовательного, почти неумолимого. Не смущаясь тем, что его упрекали в назойливости и надоедливости, он приставал ко всем, брал везде, где было можно; он сам сравнивал себя с турецкими мытарями, классическими представителями этой породы людей; достаточно было знакомому спросить у него, как идут дела сборника, чтобы тут же сделаться жертвою своей любознательности; он ловил собеседника на слове, и тот платился. Домосед, никогда не посещавший больших собраний, он вдруг сделался необыкновенно общительным, ездил всюду, где надеялся пополнить бюджет своих страдальцев, не останавливался перед утомлявшими его путешествиями в Петербург. И все это делалось так просто, он обирал знакомых и незнакомых так добродушно, что в конце концов никто на него не сердился серьезно. И нельзя было сердиться на этого человека, который, задыхаясь, взбирался на третий этаж, чтобы получить двадцатипятирублевую бумажку, систематически простуживался после каждого путешествия по Москве, пополнявшего его кассу лишней сотней рублей. Поэтому ему давали все. В бумагах редакции «Братской Помощи» сохранились письма его жертвователей. Кого-кого тут нет. И члены Императорского дома, и министры, и сановники, и ученые, и капиталисты, и люди, дававшие из последнего на благое дело. Первое издание «Братской Помощи» принесло около 30000 руб. Другой почил бы на лаврах. Не таков был Джаншиев. Когда не осталось ни одного экземпляра, он приступил ко второму изданию, в котором был расширен армянский отдел. Снова началась та же работа и так же успешно была доведена до конца. Опять в кассу «Братской Помощи» поступило около 30000 рублей. К весне 1900 г. разошлось и это издание. Уезжая в мае на юг, Джаншиев стал поговаривать уже о третьем издании и выражал надежду приступить к нему по возвращении в Москву. Но он вернулся в Москву, только чтобы умереть, и третье издание «Братской Помощи» так и не было осуществлено. А между тем оно обещало быть еще более интересным, чем оба первых. Джаншиев хотел сделать из него популярную армянскую энциклопедию, опустив статьи общего содержания и значительно расширив и приведя в систему армянский отдел. «Теперь уже материальные цели более или менее достигнуты: надо подумать о культурных», – говорил он, имея в виду, что новое издание даст русскому обществу знакомство с армянами, их историей, литературой и бытом. И он бы осуществил свои планы, если бы смерть не похитила его так неожиданно.

На собранные им таким путем деньги Джаншиев, при посредстве русского посольства в Константинополе и патриарха Орманиана, при жизни открыл 12 приютов в различных местностях Турецкой Армении. Его трудами и до сих пор еще живут в относительном довольстве, имеют кров и пищу сотни армянских сирот¹⁰.

Резня 1894–1895 г. разрушила веру Джаншиева в спасительность § 61 Берлинского трактата и турецких реформ вообще, а то, что было введено европейской дипломатией в армянских провинциях Турции в 1895 г. под громким именем реформ, оказалось таким жалким фарсом, что самый верующий должен был сделаться скептиком. И Джаншиев стал искать другого решения армянского вопроса. Его подсказали ему статьи известного немецкого публициста и

¹⁰ Собранные на «Братскую Помощь» 60 000 руб. были не единственными деньгами, отправленными Джаншиевым в Турцию. Отчасти тогда же, отчасти в день двадцатипятилетия своей литературной деятельности он заручился обещанием ежегодных взносов, в итоге составивших довольно значительную, – не знаю в точности какую, сумму. После его смерти на текущем счету «Братской Помощи» в одной из московских банкирских контор оставалось, если не ошибаюсь, еще около 2000 руб.; суммы, поступившие в контору «Русских Ведомостей» на эту же цель тоже составили в итоге, помнится, около 2000 руб. Все это было отправлено в Константинополь.

путешественника Рорбаха, который советовал германскому правительству во имя интересов немецкой торговли в Малой Азии поддерживать интеллигентное и опытное в коммерческих делах армянское население. Если немецкая торговля хочет стать твердо в центре Малой Азии, говорил Рорбах, то без армян она не сделает ни шагу, ибо много еще воды утечет в Ефрате, пока турок сделается купцом.

Джаншиев нашел, что эта точка зрения приложима и к русской торговле, стоит только вместо юга Турции подставить север. Свои рассуждения он напечатал в «СПб. Ведомостях» под псевдонимом Гр. Мирон в той самой статье, в которой пропел отходную вдогонку армянофобу Величко, у которого только что за чрезмерное усердие в травле армян было отнято редактирование «Кавказа».

В последнее время много спорили о том, что такое идеализм и что такое идеалист. Когда просматриваешь писания Джаншиева, то убеждаешься, что идеалистом можно быть, не разделяя мировоззрения Платона и Гегеля. Джаншиев, как уже было указано – позитивист, но все в нем сплошной горячий порыв к идеалу, который принимает смотря по обстоятельствам различные воплощения. Он преклоняется перед идеалом свободы; он падает ниц перед идеалом справедливости, он весь полон глубокой, перенесшей столько тяжелых ударов, но не сокрушенной верою в конечное торжество права и правового порядка; он мучается и страдает, видя как втоптана в грязь идея гуманности, созерцая ужасающие по своим размерам гекатомбы молоху фанатизма и дипломатических фетишей. Но во всем этом цельном и последовательном служении идеалу нет и тени утопизма. Он борется за настоятельные общественные задачи, решение которых давно назрело и осуществится тем скорее, чем дружнее и энергичнее будут усилия. И Джаншиев всю жизнь только и делал, что призывал к этим усилиям всех, кому дороги идеалы правды и свободы, ободрял унывающих, поощрял равнодушных, приветствовал энергичных.

Если когда-нибудь будет написана история воспитания русского общества, имя Джаншиева, конечно, будет фигурировать там на почетном месте. Он много поработал и заслужил эту честь.

А. Дживелегов

Автобиографические данные о Г. А. Джаншиеве (сообщены С. А. Венгерову для его «критико- биографического словаря» в 1888 г.)

Григорий Аветович Джаншиев родился 17 мая 1851 г. в Тифлисе. Отец его, Аветик Глахич, был тифлисский мокалак (мещанин или, точнее, бюргер) и занимался торговлею персидскими товарами, которая давала ему средства, весьма скудные, для содержания своего многочисленного семейства и двух сирот племянниц. Благодаря своему недожинному уму, честности и «образованию» (знал грузинский, армянский, персидский языки и счет) Аветик пользовался уважением своих сограждан. В семье он был строг, даже суров, но никогда не прибегал к телесному наказанию. Мать Кекела (Кикилия) происходила из старинного рода тифлисских мокалаков и отличалась красотой, замечательной добротой, щедростью и веселым нравом. Смерть ее, последовавшая в 1884 г. в Тифлисе, была оплакиваема горькими слезами всем Муэранским околотком, где она жила в доме, оставшемся после смерти мужа. О роде отца никаких точных сведений не сохранилось. Предание выводит его из Персии или Индии. Предание это не лишено вероятия ввиду существования в Индии провинции *Джанши*¹¹.

До 1864 г. Джаншиев жил в семье в Тифлисе. Учился он сначала в местной реформатской приходской, а потом в армянской приходской школе, а в 1861 г. поступил в приготовительный класс Тифлисской губернской гимназии. Ограниченные средства Аветика Джаншиева заставили хлопотать о принятии сына в Лазаревский институт восточных языков в число стипендиатов фамилии Лазаревых, облагодетельствовавших не одну сотню бедных армян дарованием средств к образованию.

В феврале 1864 г. отвезен был Джаншиев в Москву, где он с тех пор и оставался, не считая кратковременных поездок на Кавказ и за границу.

В 1866 г. Джаншиев за хорошие успехи перечислен был из Лазаревских воспитанников на Александровскую стипендию, учрежденную Московским армянским обществом в память избавления Александра II от покушения 4 апреля 1866 г. Окончил полный гимназический курс в 1870 г. 2-м учеником с серебряною медалью и с занесением на так называемую золотую доску (имел круглое «5», за исключением русского сочинения – «4»). Благодаря чрезмерному напряжению сил и неблагоприятным условиям школьной жизни, в институте Джаншиев расстроил себе здоровье и получил искривление позвоночного столба.

Вышеупомянутая Александровская стипендия дала возможность поступить в Московский университет. Институтское начальство (особенно инспектор Г. И. Кананов) сильно уговаривало его поступить на историко-филологический факультет. Но так как на классицизме 60-х гг. лежала явственная печать ретроградства и обскурантизма, то Джаншиев решительно отказался последовать совету начальства и поступил на медицинский факультет. Избрание медицинского факультета обуславливалось влиянием тогдашней журналистики (особенно «Дела») и беллетристики (романы Михайлова – «Жизнь Шупова» и др.). Среди учащейся молодежи того времени считалось за аксиому, что естественные науки одни достойны внимания серьезного и мыслящего человека, и медицинская карьера одна только прилична для «честного» человека, не эксплуататора.

¹¹ Об этой провинции в письмах своих, печатавшихся в 1877 г. в «Московских Ведомостях» («В пещерах и дебрях Индостана») г-жа Радда-Бай (Блаватская) писала следующее: «По дороге от Агры к Сагору расположена территория Джанши (Jhansi). Теперь она находится в британской провинции Бутделькундо, но в 1854 г. принадлежала независимым нейшавам маашским. Радж Джанши состоит из двух частей, разделенных лишь узкою полосой и принадлежащих к территории туземного раджи Такура Техри. В 1832 г. в радже Джанши было 956 деревень».

На медицинском факультете Джаншиев пробыл три недели. После первого же знакомства с анатомическим театром Джаншиев почувствовал к «медицине» такое неодолимое отвращение, что должен был ее бросить. Но куда поступить? На филологический факультет нельзя было поступить по указанной выше причине. К математике он не имел влечения. Остался юридический факультет. Туда, скрепя сердце, и поступил Джаншиев, браня себя внутренне за измену гуманно-либеральному знамени.

Московский юридический факультет 70-х гг. наполовину состоял из спившихся или выдохшихся инвалидов. Среди профессоров особенно выделялся В. И. Сергеевич, книга коего «Задача и методы государственных наук», впервые познакомив с позитивизмом, оставила на «невольном» юристе глубокий след и внушила уважение к юридическим наукам. Под руководством того же профессора, он ознакомился с Миллем и написал свой первый юридический этюд «О возникновении представительного правительства». На 3-м курсе Джаншиев заинтересовался философией и психологией и окончательно переменял свой неблагоприятный взгляд на юридический факультет. Свой философский этюд (о врожденных идеях по Лейбницу и Локку) он должен был поднести не официальному преподавателю психологии Юркевичу (завязтому метафизику), а Легонину, читавшему судебную медицину и в связи с нею небольшой курс судебной психологии. Джаншиев окончил курс вторым кандидатом в 1874 г. Единственная четверка была по предмету известного ненавистника «черных» (т. е. кавказцев вообще и армян в особенности) Н. И. Крылова. Впрочем, его армянофобия не помешала Джаншиеву впоследствии с ним сблизиться и даже подружиться.

В 1874 г. Джаншиев поступил в помощники к присяжному поверенному Г. Г. Кустареву (в чине, на который давал право университетский аттестат, как и не был утвержден никогда). Адвокатская практика его подвигалась очень туго. Не имея и не добиваясь большого круга знакомых, ни столь необходимого для адвоката крепкого здоровья (особенно сильных легких, здорового сердца и звучного голоса), Джаншиев с большим трудом добывал средства к существованию, из которых половину давали частные уроки.

Мысль о литературной карьере никогда не приходила ему раньше в голову, и только адвокатура натолкнула его на нее. После какой-то неудачи на адвокатской практике, Джаншиев, под влиянием огорчения, подробно занялся литературой предмета, и результатом изучения его явилась *первая* юридическая статья «О судебных издержках при заочном решении». Статья не только была напечатана в «*Судебном Вестнике*» (октябрь 1874 г.), но и вызвала большую передовую статью, весьма лестную для новичка. Вторая статья была вызвана уголовною практикою (об ответственности укрывателей), и мало-помалу Джаншиев втянулся в газетное дело. С переходом «*Судебного Вестника*» от Думашевского к В. Д. Рычкову он получил от редакции приглашение сделаться постоянным московским корреспондентом. До самого прекращения этой газеты состоял в данном звании, посылая судебные отчеты, заметки о юридическом обществе, диспутах и других явлениях юридической жизни. С возникновением «*Северного Вестника*» В. О. Корша и «*Порядка*» М. М. Стасюлевича состоял их московским корреспондентом.

Судебные отчеты Джаншиева, печатавшиеся в «*Судебном Вестнике*», были замечены заведующим юридическим отделом «*Московских Ведомостей*» М. О. Гольденвейзером, который и предложил в конце 1876 г. составлять *такого же* характера отчеты и для «*Московских Ведомостей*».

Самого Каткова Джаншиев видел в редакции раз, но лично с ним знаком не был. Репортером «*Московских Ведомостей*» состоял он до апреля 1878 г., когда появились столь известные статьи о деле г-жи Засулич и об избииении студентов мясниками. Тотчас, по напечатании этих статей, Джаншиев отказался от сотрудничества в «*Московских Ведомостях*».

С 1878 г. Джаншиев сотрудничает в «*Русских Ведомостях*». Сначала он был судебным репортером, а с конца 1879 г. стал помещать передовые статьи и заведывать судебным отделом вообще. С этого же времени он стал отдавать все больше и больше времени юридической лите-

ратуре и публицистике и сокращать свою адвокатскую практику. Статьи свои стал печатать в «Юридическом Вестнике», «Журнале гражданского и уголовного права», «Русской Мысли» и др. С 1883 г. состоит членом редакции и пайщиком товарищества по изданию «Русских Ведомостей», учрежденного в 1883 г. С 1878 г. по 1884 г. был секретарем московского юридического общества.

Г. Джаншиев

Предисловие к 1-му изданию

Иван Ильич Маслов, – приятель И. С. Тургенева, вместе с ним крестивший детей Белинского, – оставил по духовному завещанию, утвержденному судом 5 декабря 1881 г., до полу-миллиона рублей на народное образование. Завещатель мотивировал свое распоряжение так: «Желая свидетельствовать, – пишет он, – *глубокое сочувствие великим реформам*, совершенным в незабвенное и славное царствование Государя Императора Александра Николаевича, я нахожу наилучший для сего способ в содействии народному образованию в земле русской».

Среди раздающегося в последние годы несмолкаемого гула инсинуаций и клеветы, направленных против освободительных реформ 60-х гг., этот одинокий голос сочувствия прозвучал особенно заметно и трогательно...

«Ведь и до сих пор, – писал в 1884 г. наш знаменитый сатирик, – встречаются *старички*, которые облизываются при воспоминании о старых порядках». Стариков едва ли не превзошли нынешние молодые панегиристы крепостных порядков, оплакивающие стихом Гомера падение этого «святого, великого невозвратного Илиона»...

Предлагаемые читателю «Исторические Справки» имеют целью несколько возобновить в памяти общества значение и смысл недавней преобразовательной эпохи, так часто и так бесцеремонно извращаемые реакционной печатью. Справки эти вызваны годовщинами событий неодинаковой важности, но общим связующим для них звеном является их общий благородный источник, – освободительно-гуманное движение 60-х гг., к которому они так или иначе примыкают. А это движение, – откуда, по прекрасному выражению одного московского профессора, идет «все, чем красна наша жизнь», – как известно, в свою очередь, исходило из того вечно памятного движения 40-х гг., коего могущим вдохновителем и руководителем был великий подвижник мысли русской, Белинский:

Молясь твоей многострадальной тени,
Учитель! перед именем твоим
Дозволь смиренно преклонить колени...

Как ни неблагоприятно переживаемое нами время для либерально-гуманных начал преобразовательной эпохи, однако внутренняя сила и привлекательность их так велики, что напоминание о них, позволительно думать, не будет совсем бесполезно. Всякий искренне верующий в живительную силу этих начал не может не надеяться на конечное торжество их.

Если вообще не нужно забывать правила:

Dum spiro spero,

то в особенности уместно вспомнить его сегодня, в Татьянин день, с которым, что бы там ни было, связано столько отрадных воспоминаний и радостных чаяний.

Г.Д.
Москва,
12 января 1892 г.

Предисловие ко 2-му изданию

Переживаемые крестьянами тяжелые времена голода далеко не просветили политического разума наших близоруких почитателей дореформенного, крепостного строя жизни. Их органы печати тянут все одну и ту же старую песню и чуть ли не подняли даже ее тон.

Один из журналов («*Русс. Вест.*»), не смущаясь своим названием, под которым в 50-х гг. проводились идеи гуманности, равноправности и европейского просвещения, выбивается из сил, чтобы доказать необходимость окончательно заделать, забить пробитое Петром Великим «окно», в котором усматривается главная причина переживаемого Россией тяжелого экономического кризиса. Другой представитель («*Гражд.*») реакционной печати свое откровенное крепостничество и ретроградство выставляет с таким самодовольным бесстыдством, что невольно вспомнишь упрек, обращенный поэтом Жемчужниковым к нашей «правдолюбивой» реакционной печати:

...можно маску снять-зачем снимать рубашку?
Пусть лицемерья нет, зачем же нет стыда?!..

Когда в конце 50-х гг. до отмены крепостного права находились Коробочки, проводившие теорию о том, что одни люди рождаются с нежным сложением и тонкими чувствами, а другие с грубым физическим сложением и предназначенными быть рабами первых¹², то такая дико-наивная теория вызывала улыбку. Но что сказать о бесчинствующих современных публицистах, которые через 30 с лишком лет после падения крепостного права мечтают о возможности восстановления крепостного строя, или, как нынче называют, *обязательного труда крестьян для себя и для деревни?*

И такое-то цинично-архаическое приглашение произвести новый опыт прикрепления, – как над *anima vilis*, – над народом, тридцать с лишком лет живущим плодами своего тяжелого, неблагодарного, но все же «свободного» труда, именуется последним словом самобытного, трезвого консерватизма *sans phrases*.

От такой проповеди консерватизма, или, точнее, неудержимо пятящегося назад ретроградства, наверное, отшатнулись бы с отвращением все консерваторы даже крепостных времен, имевшие хоть какое-нибудь политическое разумение. Вот что, например, писал о движениях назад и вперед В. А. Жуковский, которого трудно заподозрить в каких-нибудь радикальных увлечениях: «Движенье – *святое дело*, – поучал Жуковский в письмах своего юного великого князя Константина Николаевича, – все в Божьем *мире развивается, идет вперед* и не может и не должно стать; неподвижность есть смерть неприметная, но все же смерть, производящая только гниль»¹³.

Доказывая своему юному корреспонденту необходимость своевременных реформ и пагубность регресса, тот же просвещенный охранитель осуждал как попытки перескочить из понедельника прямо в среду, так и попытки из понедельника пятиться *назад* в воскресенье. Первое, по его мнению, это революция *вперед*, второе—*революция назад*¹⁴.

Нынешним «кастовым» публицистам, рекомендующим все государственное внимание и заботливость сосредоточить в интересах и нуждах избранного привилегированного меньшинства, дворян, не лишнее вспомнить, что задачу разумного управления должны быть, как учил

¹² См. ниже главу III.

¹³ См. «Русский Архив». 1867. С. 1046.

¹⁴ См. главу XVII.

тот же благонамеренный друг порядка, «не дела, озаряющие только *немногих избранных*, а дела *правды*, благотельные *для всех и каждого*»¹⁵.

Стыдно и горько, что через четверть столетия после великих реформ, имевших целью хоть отчасти уничтожить неравенство и неправду, нужно напоминать о таких элементарных истинах!

Живучесть застарелых крепостнических вкусов, приемов и мировоззрений – самый тяжелый тормоз для общественного развития. Едва ли не в них, главным образом, заключалась причина неправильного функционирования наших преобразованных учреждений.

Будучи лишены подходящих благоприятных условий, наши преобразованные учреждения почти во все время их действия напоминали положение той птички, о которой Державин писал:

Поймали птичку голосисту
И ну сжимать ее рукой...
Пищит, бедняжка, вместо свисту,
А ей твердят все: пой да пой!

Еще нужно удивляться, как при такой аномальной обстановке не вполне иссяк животворящий дух, присущий освободительным реформам 60-х гг.

*5 марта 1892 г.
Москва.*

¹⁵ Там же.

Предисловие к 3-му изданию

Совершенно неожиданная для автора быстрая распродажа первых двух изданий настоящей книги, само собою разумеется, в значительной степени должна быть приписана сочувствию читающей публики цели изданий, но ею одною вряд ли можно объяснить этот факт. Приписать подобный успех особым достоинствам собранных здесь беглых очерков нет никакой возможности, потому что для автора не менее ясны, нежели для критики, погрешности их, кои только отчасти и далеко не все находят объяснение в спешности работы. Если за всем тем «Исторические Справки» встретили сочувственный отклик, то смею думать, что это факт поучительный и, может быть, имеющий в ряду других фактов некоторый общественный интерес в качестве симптома современного настроения.

И по теме, и по направлению «Исторические Справки» резко расходятся с дающим ныне тон журналистике, частью откровенно реакционным, частью откровенно равнодушным направлением. Кому из современных руководителей общественного мнения нужен «старый либеральный хлам» из недавней великой просветительной эпохи, при наступлении которой, как Гуттен в XVI в., восклицали с умилением: «Новым духом веет, новое время настало»¹⁶?! Нынешние «властители дум» давно уже порешили, что все это освободительно-гуманное движение 60-х гг. – сущий вздор, навеянный легкомысленным и пагубным увлечением Европою.

Окруженная хором торжествующих «назадников» (если позволительно в pendant к напреднякам употребить это слово, получающее уже право гражданства), едва заметная кучка защитников идей славной преобразовательной эпохи, – которые ныне уподобляются «старому заброшенному погребу», – является в виде:

Ran nantes in gurgite vasto...

Если при такой неблагоприятной и прямо даже враждебной обстановке встретила в публике сочувственный прием книга, посвященная столь сильно оклеветанной эпохе 60-х гг., то, кажется, не будет совсем произвольным самообольщением думать, что авторитет нынешних «властителей дум» начинает слегка колебаться. А если это так, то кто знает, быть может, и не очень далеко то время, когда очистится вполне общественное сознание, и в литературе совершится спасительный поворот в сторону старых добрых просветительных традиций русской литературы, так беззастенчиво попираемых органами ретроградной печати. Пора, давно пора!

В своем невежественном ожесточении против всего, что хоть отдаленным образом напоминает нашу просветительную эпоху возрождения, обскуранты дошли до такого умопомрачения, что неистово вопиют еще громче, чем их достойные предшественники:

Ученье – вот чума,
Ученость-вот причина и т. д.

Подобное открытое поругание священнейшего из заветов русской литературы, казалось бы, должно было давно возмутить всех, кому сколько-нибудь дороги интересы литературы и просвещения!... И это не фраза! Этот *обязательный* для *всякого* уважающего свое звание литератора символ веры и правило поведения давно, уже почти полвека тому назад, точно формулировано благонамеренным критиком, формулировано в таких сильных, возвышенных и

¹⁶ См. ниже (гл. XVI) речь публициста Павлова на литературном обеде 28 декабря 1857 г. в Москве по случаю приступа к освобождению крестьян.

задушевных выражениях, что мы не можем отказать себе в удовольствии привести эти дивные строки, за которые многое простится их автору.

«Немного таких истин несомнительных, немного таких правил *непреложных*, – писал князь П. А. Вяземский, впоследствии, в конце 50-х гг., товарищ министра народного просвещения, – коих святость должна пребыть несомненною и тогда, когда противоречат им последствия частные, случайные и независимые от воли людей. Но, посвятив себя на служение одной из сих истин, должно пребыть ей верным *без изъятия*, применяя к себе рыцарское восклицание французских роялистов: *Vive le roi quand t'êше!* Польза просвещения есть одна из малого числа сих *исключительных истин*. Почитая его единым, прочным основанием благосостояния общего и частного, совестью правительств и частных лиц, простительно ли, например, пугаться малодушно некоторых прискорбных явлений, приписываемых просвещению или, положим, и влекущихся за ним по неисповедимым законам Провидения, которое отказало в совершенстве всему, что ни есть на земле?»¹⁷.

Вот против какой основной заповеди грешат вольно или невольно враги освободительного движения и корифеи современной реакционной печати. Но этого мало. Рядом с откровенным до бесстыдства обскурантизмом идет у них и другое, не менее вредное искажение роли литературы, также энергично осуждаемое тем же поэтом-критиком, благонадежность которого не в состоянии заподозрить даже нынешние сыщики печати. «Писатель, который по *званию* своему *обязан* быть проповедником просвещения, а вместо того бывает, – говорит князь, – *доносчиком на него*, подобен врачу, который, призван будучи к больному, пугает его неверностию своей науки и раскрывает перед ним гибельные ошибки врачевания. Пусть каждый останется в духе своего звания. Довольно и без писателей найдется людей, которые готовы остерегаться от властолюбивых посяганий разума и даже клеветать на него при удобном случае»¹⁸.

А между тем полюбуйтесь на литературные нравы и приемы нынешних «властителей дум»! После двух слов третья непременно призыв к обузданию, просьба: дабы повелено было и пр., словом, вместо литературной борьбы, вместо свободного обмена идей в свободной «республике словесности», вы находите «инквизицию печати» и «юридические бумаги», как выражались во времена Белинского. На что уже связана по рукам и ногам провинциальная печать, – даже для борьбы с этим лежачим врагом у ретроградных органов «порядочных людей» нет других средств воздействия, как опять-таки приглашение «тащить и непушать!» Трудно представить себе более грустное и более гнусное извращение просветительной роли литературы, нежели такое противоестественное совместительство взаимно исключających друг друга обязанностей, практикуемое реакционной прессою...

Как же после этого не искать и не радоваться самонаименьшему симптому, указанию, намеку, хоть едва заметно предвещающему возможность очищения современной литературной атмосферы от насыщающих ее миазмов; как не прислушиваться к хоть чуть слышному шороху, указывающему, что вчерашние друзья и союзники благонамеренного мракобесия (напомним недавнюю отповедь нижегородского губернатора известному «мракобесу», как он себя именует), начинают *краснеть* за свой союз?!

Это хорошая примета! Краска стыда – начало просветления: *erubuit salva res est*. Этого нужно было ждать, это было неизбежно, неотвратимо, потому что

Как бы ночь ни длилася
И небо ни темнила,
А все рассвета нам не миновать.

¹⁷ См. Очерки Гоголевского периода русской литературы И. Г. Чернышевского. СПб., 1882. С. 107.

¹⁸ Там же.

*Москва,
26 мая 1892 г.*

Накануне пересмотра судебных уставов и новелл (вместо предисловия к 5-му изданию¹⁹)

*И хоть не вижу я отрадного рассвета,
Еще невольню взор с надеждой смотрит вдаль.*

Плещеев

Когда по кривым, грязным закоулкам Стамбула приближаетесь вы к храму Софии-Премудрости, вас невольно охватывает чувство удивления и досады. Вам бросаются прежде всего в глаза четыре тощих минарета, несоизмеримых ни с объемом, ни с общим характером здания и прилепившихся к нему некстати и неестественно, что называется сбоку припека. Затем вы напрасно ищете самый остов великой Софии: он весь исчез под грудю неуклюжих мазанок, пристроек и приделов, набросанных варварским усердием мусульманского благочестия. Нужно возвести очи «горе», к классически правильному очертанию дивного купола, легко и величаво осеняющего указанную разнохарактерную грудю, чтобы увидеть слабый отблеск первоначального цельного плана, увидеть луч той глубокой мысли и светлого идеала, которые носились пред очами творца этого храма и которые не могло загасить совсем даже наивно дикое изуверство ислама. Только проникнув внутрь храма, вы впервые поддаетесь очарованию его дивной гармонии. Но и тут вы на каждом шагу раздражаетесь на последующие кощунственные ломки, пестрые переделки, приспособления храма к новому назначению, оскорбляющие не только религиозное, но и эстетическое чувство и громко вопиющие о том, что нечестье святыню оскорбило, что

L'impie a porte l'outrage au sanctuaire:

на месте «святой святых» – жалкий, примитивный ассортимент наскоро и кое-как прилаженных принадлежностей неприхотливого мусульманского культа; на стенах крикливые вывески со стихами из Корана; чудесные художественные мозаики, плод долгих трудов и предмет гордости византийских художников, исчезли под мазнею турецких штукатуров, дабы не оскорблять иконо-классических чувств добрых мусульман; даже циновки на полу пришлось искривить в сторону Каабы, чтобы приспособить храм Софии для нового назначения.

Редко где пестрота стиля, нарушение законов стиля производят такое удручающее впечатление, как у порога этого поруганного храма, воздвигнутого на великолепном берегу Золотого Рога во славу предвечной мудрости и обращенного на варварское служение Каабе... Но народно-культурный инстинкт, не могущий мириться с профанацией святыни, сложил в утешение себе легенду о неизбежности восстановления храма в его первоначальной красе и величии. У одной из заделанных ниш храма благочестивый драгоман и грек шепчет вам на ухо: сюда удалился священник с дарами, не кончив литургии, когда Магомет Завоеватель верхом выезжал на покрытый кровью амвон, – но священник ждет с дарами, и он вернется для окончания литургии, когда храм будет возвращен его первоначальному назначению...

Судьба храма св. Софии и приведенная легенда невольно пришли мне на память, когда объявлено было в газетах об учреждении особой комиссии для пересмотра нашего законодательства, действующего в новом суде, о котором симпатичный поэт говорит:

¹⁹ Предисловие к 4-му изданию вошло в большей части в состав статьи о Белинском (см. ниже).

Благочестивыми воздвигнут был руками,
Как благолепный храм России, новый строй,
Пред алтарем служил тот деятель былой,
И верующих сонм теснился в этом храме;
Теперь он опустел; все входы прах занес;
Священнодействий нет; он темен и печален,
И ползает в нем гад, и, лая, бродит пес,
Как средь заброшенных развалин.

Необходимость приведения в порядок запущенного храма правосудия признается ныне всеми, необходимость пересмотра бесчисленных «пестрых» новелл, сыпавшихся как из рога изобилия чуть не со дня открытия новых судов²⁰ и облепивших со всех сторон стройное монументальное здание Судебных Уставов, бьет в глаза всем, даже завзятым практикам, равнодушным к вопросам об архитектонике, стиле и вообще равнодушным к теоретическим руководящим началам.

Мы накануне очень крупного события: мы накануне пересмотра Судебных Уставов и новелл. Что он принесет с собою? Действительный ли коренной ремонт «благолепного храма», согласный с планом первых храмоздателей, или только наружную подчистку для устранения бьющей в глаза пестроты, замазку трещин и щелей и единообразную окраску в один цвет старого остова здания и новых пристроек? Кто знает? *Qui vivra – verita!*

Есть только один прискорбный признак, благодаря которому нельзя поставить чересчур радужную прогностику для стоящей на очереди великой законодательной задачи, а именно: современное вялое, апатическое настроение общества, образ мыслей нынешних «властителей дум». Оставляя в стороне невежественную, крепостническую клику литературы «мещерского» толка, дикие и алчные вождения которой слишком нелепы, невежественны и несвоевременны, чтобы могли рассчитывать на большое сочувствие и применение, что же представляет господствующее большинство органов современной безыдейной печати, как не более или менее откровенное отрицание всяких твердых руководящих принципов, всякой последовательной рациональной программы? «Здоровая традиция всякой литературы, претендующей на воспитательное значение, – говорил Салтыков, писатель, равно великий и как мыслитель, и как художник, – заключается в подготовке почвы *будущего*... Литература провидит законы будущего, воспроизводит образ будущего человека. *Утопизм* не пугает, потому что он может запугать и поставить в тупик только массу. Типы, созданные литературой, всегда идут *далее* тех, которые имеют ход на рынке, и потому-то они кладут известную печать даже на такое общество, которое, по-видимому, всецело находится под гнетом эмпирических тревог и опасений. Под влиянием этих новых типов современный человек незаметно для самого себя получает новые привычки, ассимилирует себе новые взгляды, приобретает новую складку, – одним словом, постепенно вырабатывает из себя *нового человека*. Что бы было в таком случае, если бы литература, забыв о своих воспитательных задачах, пошла по другому пути... хоть, например, по пути бесплодных обращений к прошлому или... являлась не воспитательницею-руководительницею общества в его исканиях идеалов будущего, а обуздательницею и укротительницею»²¹.

Достаточно бросить беглый взгляд кругом, чтобы убедиться, насколько удачно выполняет указанный выше великим учителем завет современная литература, идеалы которой В. С.

²⁰ Первая новелла об изменении подсудности дел о печати, обязанная своим происхождением П. А. Валуеву (см. главу X), была издана 12 декабря 1886 г.; всех же новелл насчитывают до 700, т. е. почти по две на каждый месяц.

²¹ Сочин. II, 503, 504, 505. —Отвращение Салтыкова к противоестественному ремеслу «сыщиков пера и доносчиков печати» вполне разделял и такой благонамеренный писатель, как кн. П. Вяземский (впоследствии тов. мин. народ. проев.), возмущавшийся доносами печати несвойственными «духу звания писателя» (см. выше предисловие к 3-му изданию).

Соловьев в противоположность платоновским идеалам, с их высоким полетом под самое поднебесье, верно назвал ползучими и низменными.

Интересы дня, часа, минуты с отрицанием всяких общих кабинетных теоретических измышлений – вот лозунг мудрецов века сего, для которых невыносима всякая рациональная программа, будь она «составлена, как писал Н. А. Милютин, хоть семью мудрецами и изложена на четвертушке бумаги»²². Если вы стоите за принципы, если вы доказываете, что без них невозможно никакое разумное законодательное строительство, рассчитывающее на будущность, значит вы фантазер, теоретик, вы заражены «доктриною», а доктрина – это клеймо, которое навсегда дискредитирует человека, это разрывная пуля, которая наповал убивает «серьезного» публициста пред общественным мнением, по уверению нынешних «трезвых» его руководителей, твердящих на разные лады: доктрина – вот чума, доктрина – вот причина и т. д.

Нелегко созидать что-нибудь прочное и жизнеспособное при таком настроении литературы, нелегко даже производить целесообразный капитальный ремонт.

Нам говорят, какое кому дело до «либеральных принципов», нужно только, чтобы «суд был судом», чтоб существовало «правосудие». И прекрасно, но разве этим что-нибудь определенное сказано, указано или предрешено? Ведь все равно, что больному, ищущему выздоровления, прописать здоровье... – Вы хотите правосудия? – Позвольте, да кто же желает чего-нибудь другого или большего? Je ne demande mieux que да, как говорят французы. – Но ведь и Джефрайсы, Шешковские, Бенкендорфы всех времен тоже взывали к правосудию. Вопрос, стало быть, не в целях, а в путях и в средствах²³ достижения правосудия. Дело в том, что без так называемых «либеральных» принципов, т. е. без гласности, суда присяжных, несменяемости судей, отделения суда от администрации и других либеральных принципов невозможно осуществление «правосудия», как невозможно здоровье организма без чистого воздуха, свежей пищи и пр. Иным не нравится название «либеральный», ну, и бог с ним,—

Что в имени тебе моем?

Будем называть их более благозвучным для современного слуха эпитетом: «консервативные»²⁴, благо они существуют и с грехом пополам применяются у нас в течение почти трех земских давностей.

Но, устраняя вопрос о названии, нужно, однако, твердо помнить и вполне проникнуться убеждением: во-первых, что без этих рациональных основачал, как свидетельствует и общеевропейский, и наш собственный опыт, *абсолютно невозможно* водворение правосудия, и, во-вторых, что сила и последствия их проявляются только тогда, когда они проведены строго последовательно, *в полном объеме*, а не в гомеопатических дозах, – словом, когда судебное законодательство составлено не ощупью и паллиативным способом, а согласно рациональной или радикальной программе, основанной на общих «непреложных»²⁵ научных принципах.

Зная очень хорошо, как пугает нынче все, что хоть издали пахнет радикализмом, я тем не менее решаюсь утверждать, что только радикальное, т. е. всестороннее проведение известного начала может обеспечить водворение связанных с ним благ. Не могу не привести на первый раз в подкрепление своего положения авторитет публициста, благонадежность коего в наше время, кажется, не может быть заподозрена.

«Многие думают, – писал он, – что правило благоразумия будто бы требует не вдруг заводить хорошее, но понемножку и по частям; так, например, вполне признавая необходимость

²² См. ниже главу V.

²³ См. post-scriptum к главе XII.

²⁴ См. главу VIII.

²⁵ Сила вещей заставила такую рациональную программу принять даже такого осторожного человека, как граф Д. Н. Блудов (см. ниже главу VII, §1).

реформы судоустройства, не споря о преимуществе гласности и других начал *рационального* судопроизводства, иные думают, что вводить их можно только по частям. У этих людей всегда на языке незрелость общества, неразвитость народа и т. п. Они думают, что дело пойдет лучше, когда такому, по их мнению, обществу будут давать лучшее устройство понемногу, сначала заведя одну часть, потом другую. К сожалению, они забывают, что всякая система может развиться и принести пользу *только тогда*, когда взяты ее начала *во всей их истине и полноте*. Если вы хотите получить благотворное действие от тех начал, в благотворности которых не сомневаетесь, то дайте им *возможно ближайший простор*, допустите их действовать с *наибольшей силой*, не компрометируйте, не ослабляйте, не разрывайте, не разрушайте связи, без которой они *теряют всякий смысл*²⁶.

Только при таком радикальном всестороннем проведении основных начал рационального судоустройства и возможно ожидать действительного улучшения судебного дела. Если бы состоялся пересмотр и применение Судебных Уставов в таком направлении, то тут только в *первый* раз был бы сделан откровенный, искренний, честный опыт практической проверки этих начал. Говорим «первый», потому что, как свидетельствует история судебной реформы, частью само наше судебное законодательство²⁷, главным же образом осуществление его на деле обставлено было с самого открытия нового суда так неблагоприятно и двусмысленно, что М. Н. Катков ввиду первых и очень ранних попыток к колебанию гласности и несменяемости уже осенью 1866 г., с нескрываемою душевною тревогою за участь дорогих институтов, защищал их в следующих прочувствованных строках, искренность которых невозможно заподозрить. Указывая на враждебное отношение к новому судебному строю со стороны старой «бюрократической администрации, бывшей *все во всем*», красноречивый публицист продолжает:

«Все, что есть живого, мыслящего, разумеющего, не может не быть глубоко затронута судьбою возникающего в наше время нового порядка вещей на Руси. Не было ли бы грустно, если бы отмена крепостного права ограничилась только его формою и оставила его сущность? Но было бы не менее грустно, если бы новый порядок вещей оказался только формою без сущности. Чем важнее, чем шире наши начинания, тем менее было бы нам от них чести, если бы они ограничились *только видом*. Вот почему оскорбителен всякий намек, клонящийся к тому, чтобы затемнить сущность нового порядка вещей и лишить его силы, дающей ему всю его ценность, чтобы из каждого начинающего дела *вынуть его душу и оставить шелуху*, которая давала бы только сильнее чувствовать тщету начинания. Действительно ли наше преобразование судебное должно вывести на новые пути, чтобы Россия могла держаться достойным образом среди других наций, чтобы гений ее

²⁶ «Русск. Вест.», 1860. № 2.— Ссылку на либеральные мнения М. Н. Каткова обыкновенно стараются отражать тем, что впоследствии он стал держаться противоположных взглядов. Но истина не перестает быть истинною оттого, что лицо, ее исповедывавшее, потом от нее откажется и сделается ренегатом. Доводы, приводимые Катковым, так убедительны и хорошо изложены, что они ценны сами по себе. Что касается отношения к ним самого Каткова, то нужно иметь в виду одно, что прогрессивные взгляды были высказаны им не в возрасте зеленой молодости, а в самую зрелую и цветущую пору человеческой жизни. Ввиду отсутствия физиологического закона о большем прояснении взглядов с приближением к старости, отступление от прежних взглядов Каткова, если бы оно даже было вполне искренно и бескорыстно, нисколько не свидетельствовало бы об ошибочности их. Если уж можно говорить о физиологическом действии старости, то нужно иметь в виду скорее ее расслабляющее, а не проясняющее действие. Основываясь на этом общеизвестном факте, Ренан задолго до своей смерти предостерегал от тех отречений, которые, быть может, сделает он в конце жизни вследствие упадка умственных способностей. К счастью для Ренана, ему не пришлось дожить до такого падения.

²⁷ При рассмотрении основных начал судебной реформы 1862 г. Государственный совет внес некоторые существенные изменения, так, например, устранил суд присяжных по литературным и политическим процессам. Кроме того, вопреки заявлению многих общественных собраний в 1859-60 гг. не допустил непосредственной ответственности административных чиновников пред судом, а поставил ее в зависимость от согласия начальства. На серьезные неудобства такого порядка настойчиво указывал еще в 1863 году А. М. Унковский (см. прилож. 1-е к книге моей «А. М. Унковский». М., 1894).

народа мог обнаружить свою силу, оправдать наше прошедшее, оплодотворить наше настоящее? Правда ли, что это всеоживляющее, всевозбуждающее начало *публичности*, дающее всему свет и призывающее всех к сознательному участию в интересах своего отечества и к содействию его государственной пользе, – начало, без которого ничто не может правильно и плодотворно развиваться, ничто не может уберечься от *порчи и гниения*, ничто не может быть обеспечено от *злоупотреблений и обманов*, – правда ли, что это начало вошло в нашу жизнь, или это только мерцание, лишенное сущности, призрак, готовый исчезнуть? Правда ли, что в настоящее время положены основы благоустроенной и независимой судебной власти? Правда ли, что мы имеем судебные учреждения, которыми обеспечиваются закон и право, и *весь народ* привлекается к деятельному участию в деле правосудия? Есть ли это действительность или все это только фантом? Для *вида ли только* судебная власть признана *независимую и самостоятельную* или она действительно поставлена так, что для нее обязательны *только закон и правда?*²⁸

Вот какие тревоги вызывали первые же месяцы применения Судебных Уставов в их искренних друзьях!..

Твердо веря в плодотворную силу принципов Судебных Уставов, он же, М. Н. Катков, предсказал и направление, и дух *будущего пересмотра* вводимого законодательства, которому могли, как он утверждал, не сочувствовать только одни крепостники *«Вести»*, названные М. Ф. Дмитриевым *«белыми революционерами»*²⁹. «Пока Россия будет процветать, говорил Катков, пока дела ее будут идти к лучшему, а не к худшему, *начала*, вводимые к нам новыми Судебными Уставами, будут в силе, и с основанными на них учреждениями будет на веки веков связано имя преобразователя России... Всякое изменение (в Уставах), направленное не к худшему, а к *лучшему*, может быть, клонится лишь к тому, чтобы судебное дело *не менее, а более* соответствовало своему назначению, чтобы судебная власть была *не менее, а более самостоятельна и независима»*³⁰.

Чтобы подкрепить приведенный авторитет еще более ценным указанием, сошлюсь на мудрого наставника десятков поколений юношества, на слова проф. Редкина, из числа слушателей которого некоторые входят в состав комиссии по пересмотру Судебных Уставов и пред которым должны бы преклоняться все порядочные люди без различия политических воззрений.

Сравнивая между собою два пути законодательного творчества, – паллиативный эмпирический и рациональный научный, достойный учитель говорил: *«На административном поприще вы не будете вынуждены прибегать, идя оцупью, освещаемые наукою, к полумерам, к средствам паллиативным, к разным кунштштюкам, перебиваясь ими со дня на день, лишь бы на короткий срок вашего служения, а затем *apres moi le deluge. Нет, с твердою помощью начал науки вы сумеете радикально лечить всякую общественную болезнь, ясно сознавая настоящее, прозревши будущее, как пророк, и своею рациональною деятельностью приготовите благосостояние вашему отечеству, а себе вечную память людей, приготовлявших благодатную почву и сеявших семена добра»**³¹.

²⁸ См. «Моск. Вedom.», 1866. № 166.

²⁹ Характеристику их см. в главе IV.

³⁰ См. «Моск. Вedom.», 1866. № 198.

³¹ Из лекций I, 37.

Сошлемся, наконец, на представителя точной науки, указания которой обязательны для всех здравомыслящих людей, независимо от их личных вкусов и симпатий. Профессор В. Я. Данилевский в прекрасной речи своей «Чувство и жизнь», произнесенной в Москве, в общем собрании IX съезда естествоиспытателей, с научными данными в руке, развивал ту же мысль, которую в той или иной форме высказывал vates-прорицатель Салтыков и публицист Катков, и юрист Редкин, это – необходимость для плодотворной деятельности соприкосновения, если не осуществления, с принципом, целью идею, идеалом, *утопиею*, которая одна только будит здоровую энергию *мысли и чувства*. «Что руководит человеком в его борьбе со злом, с лишениями, – спрашивает проф. Данилевский, – что дает ему энергию инициативы? Не идеи, не отвлеченная мысль, но живое *чувство*, не всегда созданное, но всегда могучее, защищает его от опасности и гибели; лишь наши чувствования побуждают энергию, волю, усилия которой, руководимые *разумом*, должны вести к наибольшему благу. Те же чувства, которые в личной жизни человека служат путеводным сигналом для его инстинкта самосохранения, те же чувства в высшей *альтруистической* форме – предохраняют человечество от опасных искажений в жизни всего общества... Мы чувствуем потребность в идеальных построениях, мы стремимся к лучшему во всех областях нашей жизни, *к идеалу*, хотя бы и недостижимому»³². Итак, «альтруизм», «идеал» или, по терминологии Салтыкова, «утопия», «бредня», – вот могущественный возбудитель и двигатель для плодотворной общественной деятельности.

И разве героическая эпопея подготовки и проведения великих реформ 60-х гг. не служит блестящим подтверждением этой еретической для нынешних не в меру охлажденных публицистов мысли о могуществе «бредни», о силе чувства, которой обязаны своим существованием не только Судебные Уставы, но и величайшая из бредней-реформ: отмена крепостного права³³.

Если творцам Судебных Уставов удалось с изумительной быстротой составить лучший памятник русского законодательства, который, встреченный враждебно со стороны могущественных почитателей дореформенного строя, сумел, однако, с честью выдержать почти тридцатилетний, непрерывный натиск их глашатаев, давно добился единодушного признания непререкаемости своих основных принципов со стороны людей науки³⁴ и, наконец, дождался в наши дни официального признания их бесспорности со стороны авторитетного представителя власти³⁵, то секрет успеха этого образцового законодательного творчества заключается в твердости и живости веры его участников в силу добра, в разум, в науку, в принципы ее. Если нашлись и достойные исполнители для этого великого законодательного акта, появившегося во всеоружии, словно Минерва из головы Юпитера, то только потому, что они пламенно верили в прогресс, в свою благородную миссию, они сознавали ее величие, они проникались благоговением к данной им в руководство маленькой, но многозначительной книжке Судебных Уставов, глубоко чувствуя и торжественно исповедуя подобно творцам их, что Уставы эти «истекают не от произвола, а от начал истины и справедливости в той степени, в какой они выработаны наукою и опытом»³⁶.

Но вера верой, чувство чувством, не нужно, однако, преувеличивать их значение и забывать, что не героическими и моментальными порывами определяются характер, направление, традиции обыденной общественной деятельности. Если члены новой магистратуры так честно и мужественно отправляли свои судейские обязанности, при отправлении которых они бес-

³² См. «Русск. Ведом.» от 9 января 1894 г.

³³ См. Салтыков. Сочин. VI. 218.

³⁴ Один из представителей науки проф. И. В. Муравьев (ныне министр юстиции), говоря об основных началах судебной реформы, дал им такую прекрасную характеристику: «Эти начала признаны всем человечеством; они так высоки и чисты, влияние и последствия так благотельны для русской жизни, что дальше их нам незачем и некуда идти». «Русск. Вест.», 1875. №ю. С. 874.

³⁵ См. главу VIII.

³⁶ См. предисл. С. И. Зарудного к ч. 1 Суд. Уставов изд. госуд. канц.

престанно должны были сталкиваться, с одной стороны, с привыкшими к своеволию и безнаказанности высокопоставленными знатными особами, а с другой – с представителями воспитанной на произволе администрации, полиции, с интересами казны, с мимолетными и иногда очень требовательными видами правительства, олицетворяемыми политикой П. А. Валуева или потом гр. К. И. Палена, то только потому, что надежным щитом, охранявшим их судебскую независимость, служила гарантия *несменяемости*, т. е. убеждение, что никакие, ни тайные, ни явные наветы и даже прямые доносы о тенденциозности новых судов, о политической неблагонадежности судей для них не опасны.

Ведь такие обвинения тянутся чуть не со дня открытия новых судов. Если ни крепостнические, ни «внушенные» вопли *«Вести»*, ни реакционные сатурналии *«Московских Ведомостей»*, ни невежественно-кликушеская абракадабра *«Гражданина»* не в состоянии были, в общем³⁷, расшатать устои правосудия, то, без сомнения, тут значительную роль играла благодетельная ст. 243 Учр. Суд. Уст., дававшая судьям уверенность, что их не лишат судебного звания и места раньше, чем обвинения не будут проверены в гласном суде. Припомним, как рвал и метал против несменяемости судей после первого же литературного процесса А. Н. Пыпина и Ю. Г. Жуковского, после дела Протопопова мин. внутр. дел П. А. Валуев³⁸, сама судебная администрация после дела Свиридова, Мельницких. Что бы было с независимостью судей, если бы их не прикрывала своим довольно благонадежным щитом ст. 243? Конечно, и при несменяемости судей в руках судебной администрации, всецело располагающей судебной карьерой, остаются неисчислимы и могущественные средства проявлять свой гнев и милость против судей, карать и миловать их соответственно большей или меньшей их послушности временным видам ее, что в значительной степени умаляет значение несменяемости, но с такими неудобствами могли еще мириться лучшие члены магистратуры. Это не были воплощенные ангелы, не были герои добродетели и самопожертвования а outrage, это были просто средние порядочные, честные люди, в большинстве служившие в старых судах, и настолько порядочные, чтобы воздержаться от искательства в приемной на Екатерининской улице. Но только в старом суде они были безвредны и бессильны, в новом же суде, благодаря данной им гарантии несменяемости, благодаря его воспитательному влиянию³⁹, этим простым людям при содействии суда присяжных удалось совершить дело великой государственной важности, водворить возможные при наших порядках законность, правду и равенство на суде, восстановить доверие народа к суду и, в общем, неизмеримо высоко поднять уровень правосудия сравнительно с непосредственно ему предшествовавшим состоянием, которое, по словам М. Н. Каткова, «прилично было разве Хиве и Бухаре» и при воспоминании о котором, как писал И. С. Аксаков, «волос становится дыбом, мороз дерет по коже», – словом, с сравнительно недавним временем, когда Русь была

В судах черна неправдой черной

и когда никто на Руси не имел *понятия о независимом суде*, честно и смело применяющем закон.

«Как ни бедны мы, – писал в 1862 г. проф. Б. И. Утин, – гражданскими доблестями, однако нет сферы, в которой не сохранилась бы память о людях, честно и энергично, с зна-

³⁷ И. С. Аксаков справедливо указал, что даже без прямой отмены несменяемости одни уже толки об ее отмене могут поколебать независимость судей и вселить стремление улавливать модные современные виды (Соч. Т. IV. 590), т. е. rendre des services et pas des arrets, вопреки девизу французских судей.

³⁸ Никитенко в своем «Дневнике» удостоверяет (III, 115), что появившаяся в «Вести» после оправдания сумасшедшего Протопопова статья с обвинением нового суда в революционных тенденциях была внушена Валуевым.

³⁹ Разница между старыми и новыми судами, писал Катков, та, что первые портят людей, а вторые улучшают. Ср. главу XX, § 1–3.

нием и умом послуживших общему делу. *Не сохранилась только память о лицах, бесстрастно державших весы правосудия; тип судьи, праведно судящего и пользующегося общим доверием, чужд не только древней, но и новой России»*⁴⁰. И такой-то тип создал новый суд!

Вот что сделали Судебные Уставы, составленные согласно последовательной, рациональной программе с беззаветною верою в добрые инстинкты русского народа, в силу добра и прогресса, с теплою верою в науку и указанные ею гуманно-либеральные принципы 29 сентября 1862 г.; Уставы эти *впервые* за все время тысячелетнего существования России создали суд независимый, создали тип честного судьи, бесстрашно применяющего, благодаря своей несменяемости, закон, равный для всех.

Имея в руках это благородное знамя науки и правды, на котором написано было «*hoc vinces*», и прикрытые щитом несменяемости, смело вступили доблестные деятели нового суда в неравный бой с многочисленным сонмищем сильных противников.

Победили ли эти пионеры законности, равенства и милости?.. Не вина их, если этого нельзя утверждать, если этого, к несчастью, нельзя утверждать вполне. Но кто же дерзнет сказать, что они потерпели поражение или посрамили свое знамя, что они не подняли русское правосудие высоко, так высоко, что, по выражению одной газеты, можно было подумать, будто Россия очутилась на другой планете»⁴¹.

Итак, вот один путь, вот один метод законодательного творчества, простой и смелый, не хитрый, но целесообразный, разумный, прогрессивный, благословенный лучшими представителями знания и человечности⁴², вот какие законодательные плоды он приносит, каких деятелей, какую школу создает он.

Есть и другой метод – это метод паллиативных «кунштштюков», доведенный до совершенства половинчатою, разношерстною, двусмысленною программю всепримирявшего, гибкого, неискреннего⁴³ П. А. Валуева: плоды этого творчества тоже хорошо известны!..

Стало быть, и опыт жизни, и наука учат: либо рациональное творчество и непреклонность логики, «которой одной дана, по выражению Салтыкова, роковая сила совершать *чудеса*», либо паллиативные кунштштюки, безыдейное топтанье на месте при кажущемся движении вперед.

Одно из двух – *tertium non datur*:

Две легли дороги перед вами,
А какая лучше, выбирайте сами!..

Петровские выс.

Звениг. у.

1 июля 1894 г.

⁴⁰ См. «Отечественные Записки», 1862. Ноябрь. Утин – Судебная реформа, 5.

⁴¹ См. «Новое время» от 17 апреля 1891, статью по поводу 25-летия нового суда.

⁴² Проф. Миттермайер в прощальной лекции своей говорил: «Да не прорастет у вас быльем забвенья память о вашем учителе и при всяком движении вперед мысли и знания, при всякой борьбе за развитие человечности в праве, за охрану прав личности, за прогресс, вспоминайте вашего старого преподавателя и мое сочувствие и благословение будет с вами». См. Н. С. Таганцева. Последнее 25-летие в ист. угол, права. СПб., 1892 г., 15.

⁴³ Валуев приведет общество, писал Никитенко, к полнейшей вере, что ничему верить нельзя («Дневник», III, 178).

Новый фазис работ судебной комиссии (предисловие к 6-му изданию)

*Что имеет основанием правду, того нельзя не повторять, рискуя
даже надоесть.*

Н. И. Пирогов

*Там, где нет ответственности должностных лиц пред судом,
бессмысленно говорить о мнимом равенстве.*

Евг. Феоктистов

Первоначальная мысль о составлении настоящей книги внушена была голодом 1891 г. Желание оказать посильное содействие к облегчению народного бедствия, требовавшего немедленной помощи, дало автору смелость собрать воедино появлявшиеся в разное время случайные газетные и журнальные статьи о деяниях и деятелях эпохи великих реформ Александра II.

Внимание публики к книге, пережившее намного первоначальный повод к ее появлению и свидетельствовавшее о глубоком интересе к пережитой недавно знаменательной, незабвенной, – но, увы! так скоро забытой, – эпохе, побуждало автора пополнять в последующих изданиях первоначальный состав книги, выпущенной, как сказано, второпях ввиду неотложных потребностей минуты, а также вводить новые отделы, отсутствовавшие в первых изданиях⁴⁴. С внесением в настоящее издание «Справки о городском самоуправлении» замыкается цикл важнейших преобразований 60-х гг., и потому автор счел себя вправе слегка изменить заглавие и вместо прежнего «Из эпохи» назвать «Эпохой великих реформ».

Сознавая лучше, чем кто-нибудь, недостатки своего издания, автор ищет себе оправдания в том, что пока не имеется еще другого, полнее и лучше излагающего ход великих реформ, а потому и настоящая книга, даже в своем несовершенном виде может быть небесполезной, по крайней мере, для тех, кто интересуется духом и сущностью этих реформ.

Напоминать неустанно о великой культурной миссии, об основном смысле и гуманно-просветительном назначении великих начинаний Царя-Освободителя тем более своевременно ныне, что как будто начинает несколько рассеиваться тот чад и сумятица в понятиях, которую так долго и настойчиво старались распространять не бескорыстные апологеты не совсем еще отжившего крепостного строя, формальная отмена коего провела такую резкую черту *до и после* «19 февраля»⁴⁵. Считая, и не без основания, новый суд и земство продуктом и развитием

⁴⁴ В первом издании было XII глав и 262 страницы; стало быть, оно было втрое меньше нынешнего.

⁴⁵ «Те, которые говорят, – писал Салтыков еще в начале 70-х годов при первых робких движениях реакции, – зачем напоминать о крепостном праве, которого уже нет? Зачем нападать на лежачего? – говорят это единственно по легкомыслию. – Хотя крепостное право в своих прежних обязательных формах не существует с 19 февраля 1861 года, тем не менее оно и до сих пор остается единственным живым местом в нашем организме. Оно живет в нашем темпераменте, в нашем образе мыслей, в наших обычаях, в наших поступках. Все, на что бы ни обратились наши взоры, все из него выходит и на него опирается. Из этого живоносного источника доселе непрерывно сочатся всякие нравственные и умственные опустошения, заражающие наш воздух и растлевающие наши сердца трепетом и робостью». (Сочин. II). – Возвращаясь к той же мысли в 3-м письме о провинции, Салтыков говорил: «С 19 февраля к понятию русского человека соединяется представление о чем-то весьма доброкачественном. В особенности ощутительно доброе влияние 19 февраля в провинции. Тут 19 февраля действовало непосредственно и воочию всех, тут оно в самой жизни провело черту, до такой степени яркую, что то, что стоит под чертою, не имеет часто ничего общего с тем, что стоит над чертою. А так как над чертою хорошего стояло мало, то весьма понятно, куда должны тяготеть общие симпатии. . . Но именно 19 февраля составляет для «историографов» непрестанно сочащуюся язву: упраздненное крепостное право, гласные суды, земство, т. е. именно то, в чем замыкается существенный смысл 19 февраля. . . Ненавистничество до такой степени подняло голову, что самое слово «ненавистник» сделалось чем-то вроде рекомендательного письма. Ненавистники не вздыхают по углам, не скрежещут зубами втихомолку, но авторитетно, публично при свете дня и на всех диалектах изрыгают хулу и, не опасаясь ни отпора, ни поражения, сулят покончить в самом ближайшем времени

начал освободительного акта, враги его правильно объединяли в своей ненависти это наследие освободительной эпохи, ни перед чем не останавливаясь, чтобы дискредитировать его. Этим открытым врагам преобразовательной эпохи еще очень недавно довольно сочувственно вторили их бессознательные или полусознательные союзники из лагеря «складных душ», по выражению Щедрина, привыкшие плыть по течению и внимательно приглядываться к кончику общественного флюгера.

Правда, строго говоря, не имеем покамест никаких не только громких, но и вообще осязательных фактов, свидетельствующих об укреплении принципов преобразовательной эпохи; но нельзя не обратить внимания на то, что вызывающий чересчур самоуверенный тон открыто-крепостнической публицистики как будто несколько понизился, и заметно увядающий *enfant terrible* ее еще весною нынешнего года без всякой видимой причины злился на то, что «того (курс. «Гражд.») лагеря прибывает»⁴⁶.

Под влиянием этих пока неясных, неуловимых, но косвенно воздействующих течений общественная атмосфера начинает как будто понемногу очищаться. Быть может, этому неосознательному влиянию следует приписать тот важный и отрадный факт, что в нынешнем 1895 г., благодаря некоторому прояснению общественного сознания, кредит суда присяжных возрос в степени, какой не замечалось давно, по крайней мере за последние 10–15 лет. Вопрос этот простой, как $2 \times 2 = 4$, ясный, как божий день, был, – со времен Каткова, ставшего в 80-х гг. из убежденного защитника суда присяжных его страстным и злостным гонителем, – так запутан, так искажен и извращен обозленными принципиальными врагами его из реакционной прессы, что не так давно грозила серьезная опасность существованию этого благодетельного творения Царя-Освободителя, водворившего правду в искони бессудной русской земле. Но стоило подвергнуть спокойному обсуждению вопрос о деятельности суда присяжных, как это было сделано в самом начале нынешнего года в известном совещании коронных юристов, созванных комиссией, пересматривающей Судебные Уставы, чтобы рассеялись туман и копоть, напущенные систематическими врагами суда совести, и чтобы светлый и благородный образ этого великого института, обгораживающего⁴⁷, по прекрасному замечанию одного члена этого совещания, народную нравственность и служащего проводником народного правосознания, предстал во всем своем величии и красе⁴⁸. Правда, при этой внушительной реабилитации не обошлось без попытки влить ложку дегтя в кадку меда, но это обстоятельство⁴⁹ несколько не повредило делу; напротив, сделанные в совещании против суда присяжных легковесные возражения сыграли, быть может, незавидную, но неизбежную по природе вещей роль – *advocatus diaboli*, без которой, как известно, не могла состояться процедура канонизации в Средние века.

Почва была настолько подготовлена, и атмосфера настолько очищена, что даже знаменитое дело Палем, которое в таком непривлекательном свете обрисовало петербургские след-

с тем, что они называют «гнусною закваскою нигилизма и демагогии» и под чем следует разуметь отнюдь не демагогию и нигилизм, до которых ненавистникам нет никакого дела, но преобразования последнего времени» (II, 306–361).

⁴⁶ См. «Дневник» 30 марта 1895 г. в «Гражданине» 1895 г. № 89. — Поясняя свою мысль, кн. Мещерский на своем шутовском жаргоне продолжает: «Недаром тайные советники, – которых князь Мещерский с обычным своим остроумием повально считает ярыми либералами, – стали громче чихать и сморкаться» (там же).

⁴⁷ См. статью А. Ф. Кони в № 4 «Журнала Министерства юстиции» за 1895 г.

⁴⁸ Печать с изыятиями, которые разумеются сами собою, единодушно приветствовала это восстановление достоинства суда присяжных. Между прочим, «Церковный Вестник» писал: «Было бы грустно, если бы встретились серьезные возражения против суда присяжных, и через это было бы поколеблено такое прекрасное учреждение, имеющее (как справедливо заявлено было в комиссии по пересмотру судебных уставов в конце 1894 года) “облагаживающее влияние на народную нравственность, служащее проводником народного правосознания”. Суд присяжных был и есть одно из могущественных средств для укрепления в обществе чувств законности, любви и сострадания к ближнему, равно как и для проведения религиозных начал в ту область, которая была некогда синонимом сухого и мертвого формализма. Исправляя свои обязанности на суде и насаждая правду, присяжные помнят о высшей правде, которую проповедует Церковь. В заседаниях комиссии по пересмотру судебных уставов заявлены были трогательные в этом отношении факты».

⁴⁹ См. статью г. Дейтрих в «Ж. М. Ю.», 1895. № 6.

ственные порядки и которым так некстати вздумал козырять против суда присяжных г. Дейтрих⁵⁰, не могло подогреть бесшабашную агитацию и травлю против «суда улицы», которую начинали было, по примеру прежних лет, с расчетом на успех, башибузуки «Гражданина» и «Московских Ведомостей». Ни уличная брань, ни «благонамеренное» беснование, ни прочие обычные балаганские дикие выходки против института «суда улицы», еще так недавно производившие при господствовавшем сумбуре в понятиях своим шумом и гамом ошеломляющий эффект, не произвели более никакого действия и пропали бесследно, – ввиду света, пролитого на дело как совещанием указанных юристов, так и гласным разбором процесса Палем в Сенате. Суд же присяжных после свободного гласного обсуждения вышел с полною победою – получив выражение симпатий от всех без различия направления органов печати, ставящих интересы правосудия выше мелких партийных целей. В результате получилось, что по данному, по крайней мере, вопросу, по-видимому, можно сказать мелющему вздор Емеле: — «полно Емеля – прошла неделя»...

Если также открыто, беспристрастно и откровенно будет поставлен и другой очередной вопрос – о компетенции земских начальников и вообще об учреждениях, созданных законом 12 июля, то есть надежда, что рассеется и в данном случае тот гнилой туман, который продолжают напускать реакционные публицисты, и получит разумное разрешение благочестивое пожелание народного поэта, высказанное еще на заре народной свободы:

Господь! твори добро народу!
Благослови народный труд,
Упрочь народную свободу,
Упрочь народу правый суд.

В разгар недавней реакции против принципов эпохи великих реформ так часто ее клеветники твердили о том, что зловерное начало отделения судебной власти от административной было плодом мимолетного увлечения чужеземными либеральными образцами, не имевшего корней в прошлом России, что эта небылица стала свободно гулять по белу свету. История русского законодательства свидетельствует, однако, о противном, по удостоверению такого авторитетного в консервативном лагере свидетеля, как гр. Блудов, которого трудно заподозрить в тлетворном радикализме. Резюмируя основные начала русского судебного законодательства, этот благонадежный юрист категорически указывал в записке своей 1859 г. на безостановочное стремление русского законодательства, начиная с Петра Великого, к *отделению судебной власти от административной*. Главною заслугою Екатерининского положения о губерниях 1775 г. гр. Блудов считал отделение судебных дел от общего губернского управления. «Смешение судебной власти с административной во времена воевод было тем более неудобно, – писал гр. Блудов, – что в случае упущения и неправильности в делах судебных оно поставляло верховную власть в особое затруднение; ибо хороший во всех отношениях администратор мог иногда оказаться *несведущим, а потому и дурным судьей*»⁵¹. Поэтому, приветствуя, как шаг вперед, выделение Екатерининским губернским положением из ведения губернской администрации судебных дел и признание судебной власти *совершеннолетнею*, гр. Блудов скорбит только о том, что выделение было не полное и за администрацию сохранено было право надзора.

Резюмируя окончательно выводы своего исторического обзора, гр. Блудов заключает его следующими знаменательными словами: «Сего мы достигли вследствие усилий, длившихся почти *целое* столетие, и, приняв во внимание предшествовавшее хаотическое положение и сме-

⁵⁰ См. брошюру мою: «Суд над судом присяжных» (по поводу статьи г. Дейтриха). М., 1895.

⁵¹ См. «Дело о преобр. суд. части в России». Т. IV. Записка графа Блудова.

шение всех властей, следует признать, сделали успехи... и законодательство наше, не взирая на случайные уклонения, *постоянно* стремилось, между прочим, к *освобождению судов от всякого вмешательства властей административных*».

Таковы недвусмысленные указания истории русского права. Порядок же вещей, созданный законами 12 июля 1889 г., предоставившими администрации (губернскому присутствию) окончательное решение дел и даже высшее истолкование законов, приблизил нас если не ко временам Артаксеркса, как мило вышучивал недавно «*Гражданин*»⁵², то, по крайней мере, ко временам «Очаковским и покоренья Крыма» или, точнее, к допетровским временам московских приказов и временам полновластья воеводских канцелярий⁵³.

Ясно, стало быть, что, как свидетельствует документальная история русского процесса, не подражание Монтеスキе и либеральным доктринам XVIII века, а следование основной тенденции русского законодательства за последние 150 лет привело в 60-х гг. к сознанию необходимости введения первой основы цивилизованного общежития: к отделению суда от администрации, как необходимого условия для водворения законности.

Игнорирование этой аксиомы разумного судоустройства, затемненной софистическими передержками врагов судебной реформы, привело в период скептического отношения к указаниям науки, к неудачной мысли о создании в лице земского или, как верно называет Е. П. Старицкий, *крестьянского* начальника, двуликого Януса, в виде администратора-судьи, и других учреждений того же типа. Не нужно было большой прозорливости, чтобы предусмотреть неизбежные последствия такой организации, особенно в среде, где начало законности только-только начинало входить в силу, благодаря мировому институту, и где традиции кулачной расправы и другие переживания времен крепостного права не совсем еще исчезли. Но, по правде сказать, действительность превзошла ожидания! Как ни скудны были известия, попадавшие в печать, но с самого начала деятельности земских начальников обнаружилось такое злоупотребления, например, ст. 61 Полож. о земск. начал., и такие невероятные случаи грубости, насилия, самоуправства, которые отзывались нравами съезжих домов дореформенного времени⁵⁴. Между тем реакционная печать, чтобы отстоять *quand-meme* неудачное учреждение, стала защищать невероятно дикие доктрины, ясно свидетельствующие об архаическом характере этого учреждения.

Так, «*Гражданин*», основываясь на правиле:

⁵² В «Дневнике» 30 марта 1895 г. кн. Мещерский так передает шутовскую свою беседу с одним губернским предводителем дворянства.— Я приехал кричать «караул», — говорил предводитель, — расправы искать; шемякинские дни настали...— А что же такое у вас случилось?— Как что? Да не у нас одних, по всей России эту язву развели!— Какую? Суслики что ли, мыши?...— Не суслики и не мыши, а земские начальники, — от них житья нет! Я так рот и разинул.— А что, у вас нехорошие земские начальники?— Да разве они могут быть хорошие? Учреждение самое невозможное: это татарщина, кулачники, это опричники, все что хотите!— Я вас не понимаю: ведь у нас земские начальники — местные дворяне, вы их предводитель, значит, вы, так сказать, их восприемник.— Я? Я думал, что мы вводим учреждение в конце XIX века, а оказывается, что это учреждение действует в духе времен Артаксеркса! Это — представители самого варварского произвола, и к тому же у нас губернатор в том же духе...— В чем же этот дух Артаксеркса проявляется? — любопытствовал я.— Да решительно во всем... Начать с самого главного. Земские начальники вообразили себе, что крестьяне это какие-то дети, ничего не понимающие, ничего не знающие, которых надо вести — как баранов...— Что в массе они дети... — начал я. Но мой собеседник не дал мне договорить.— Какие они дети? Помилуйте, это такие же полноправные граждане русского государства, как мы с вами. У них и индивидуумы есть, и общественность; но и то, и другое земский начальник поработает своим варварским деспотизмом... Крестьянину он приказывает, как в помещичьи времена приказывал господский бургомистр; общественные сходы должны рассуждать и решать так, как этого хочет земский начальник, как он приказывает, — словом, порабощение личности и общественной свободы полное...— Так что, по-вашему, земские начальники это — вредное учреждение?— Безусловно вредное (см. «Гражд.», 1895 г. № 89). «Гражданин», по-видимому, и не подозревает, сколько злой иронии в его карикатуре, и что к его шутовскому, самодовольному хихиканью можно бы применить слова короля Лира: «Этот шут не всегда паясничает».

⁵³ См. н. «Записку Блудова». С. 25.

⁵⁴ П. Н. Обнинский в последней статье своей справедливо указывает, что необходимо было ознакомиться с институтом земских начальников, чтобы понять, а *contra*rio, истинное значение и дух великого института мировых судей; см. в «Сборнике Правоведения», т. V, статью его «Мировые судьи и их преемники».

Не беда, что потерпит мужик и т. д.,

смело стал проповедывать учения, которые, казалось, отжили навсегда свой век вместе с крепостным правом. Этот бесподобный орган печати, далеко оставивший за собою крепостническую «Весть», ничтоже сумняся, заявлял, что крестьяне как новейшие бесправные плоты обязаны, в силу ст. 61 Полож. о земск. начал., беспрекословно исполнять даже *незаконные* требования земских начальников, что приводит к упразднению закона по изволению земского начальника. Когда стали оглашаться случаи избияния земским начальником в камере просителя или нанесения ран помощью знака земского начальника, для защиты этого института выдвинута была «Гражданином» чрезвычайно оригинальная доктрина, действительно отзывающаяся временами архаическими. Ссылаясь на апокрифический пример св. Николая, заушившего Ария на первом вселенском соборе, «Гражданин»⁵⁵ стал доказывать, что «порядочный» человек в должности земского начальника имеет право безнаказанно драться с просителями, и сильно нападал на своего единомышленника, на «Московские Ведомости» за то, что те еще не вполне усвоили эту достохвальную точку зрения, действительно переносающую ко временам Артаксеркса⁵⁶.

Говорят, что такие злоупотребления земских начальников единичны. Допустим, хотя не следует забывать, что в печать попадают, конечно, только немногие из злоупотреблений земских начальников. Пусть эти случаи единичны, но разве они не *характеристичны* для самого института, и разве не правы были «Московские Ведомости», когда они, в каком-то неожиданном проблеске *lucidi intervalli*, проговорились, к ужасу союзника своего «Гражданина», по поводу избияния земским начальником Языковым просителя, высказав мысль, «что там, где судебные и административные функции совмещаются, злоупотребление становится вдвое легче»?

Только это и требовалось доказать!

А с другой стороны, разве это совсем-таки ничего незначащая случайность, что дикие сцены самоуправства стали разыгрываться с первых же лет учреждения земских начальников, тогда как за все 30-летие существования тысяч мировых судей не только никто не слышал о нанесении судьей ран при помощи снятой судейской цепи, но и о случаях вроде грубых расправ земских начальников Протопопова, Левшина, Языкова и др.⁵⁷

⁵⁵ См. «Дневник» от 14 сентября 1895 г.

⁵⁶ «Гражданин» прочел нотацию «Моск. Вед.» за измену консервативному знамени, состоящую в том, что они не считали дозволенным для земского начальника избияние просителя и писали, что избияние земским начальником крестьянина, «конечно, не входило в круг его (земского начальника) обязанностей ни как судьи, ни как администратора»; «что там, где судебные и административные функции совмещаются, злоупотребление становится вдвое легче». «Серьезная ответственность за злоупотребление ею (властью), – говорили «М. В.», – необходима для нормального хода общественной жизни», что «земские начальники, наносящие побои в своих камерах, опасны не потому, что они могут превысить свою власть, а только потому, что превышение это может остаться безнаказанным» (№ от 9 сентября 1895 г.). «Гражданин» усмотрел в таких суждениях непозволительную ересь и солидарность с либеральными газетами в «колебании авторитета земских начальников в глазах народа». Насколько несостоятельна дикая теория «Гражданина», можно видеть из слов благонадежного писателя Е. М. Феоктистова. В статье о греческой конституции, говоря о необходимости непосредственной ответственности чиновников пред судом, г. Феоктистов писал в 1862 г.: «При отсутствии таковой вместо привилегированной аристократии является аристократия чиновная, которая отделяется непроходимой пропастью от остальных граждан, ибо не подчиняется наравне с ними ответственности за действие пред судебною властью. Там, где нет этой ответственности, там, где всякое должностное лицо, прикрываясь своим официальным характером, может руководствоваться произволом, бессмысленно говорить о мнимом равенстве» («Отечественные Записки», 1862, ноябрь, 159). И еще находятся люди, которые думают, что путем компромиссов можно до чего-нибудь путного договориться с такими одичалыми маньяками кулачного права, как публицисты «Гражданина».

⁵⁷ В назв. статье своей г. Обнинский, сгруппировав массу характерных фактов, свидетельствующих о грубости и насильственных действиях земских начальников, пишет: «Кто из мировых судей отважился бы, например, явившись в нетрезвом виде, избить и изругать при народе священника с дарами на груди? Кто из них решился бы грозить полицейским городовым «бить морды», если не будут делать ему под козырек? У кого бы из них хватило духу обещать сельскому обществу перебить половину собравшихся крестьян, если они вздумают обращаться к нему с жалобами?» и т. д. и т. д. (см. с. 34–35).

Если для защиты существующего строя административно-судебных учреждений нужно прибегать к диким архаическим учениям, вроде вышеприведенного учения *«Гражданина»*, выдающего себя за привилегированного истолкователя духа этих учреждений, то это показывает, что в них вкралась серьезная ошибка и что они несовместимы с современным правосознанием и с цивилизованным общественным строем. Как ни тяжело бывает сознаться в ошибке, но лучше своевременно признать ее, нежели закрывать на нее глаза, как это делает реакционная печать.

Впрочем, несмотря на все отчаянные усилия опричников печати запугать «благонамеренными» доносами своих противников и заглушить голос печати⁵⁸, правда о земских начальниках понемногу обнаруживается, и при предстоящем рассмотрении в Судебной комиссии вопроса о местных судах неминуемо станет на очередь и вопрос о земских начальниках.

Задача, поставленная этой комиссии, – установление «действительного правосудия», до такой степени не согласуется с существованием этого неудачного нароста на Судебные уставы, что истинным поборникам суда правого, милостивого и равного для всех граждан остается пожелать, чтобы этот классически стройный, великий памятник русского законодательства освободился от этого и других подобных чуждых наростов и дождался того торжественного возрождения, о котором писал Пушкин:

Художник-варвар кистью сонной
Картину гения чернит
И свой рисунок беззаконный
Над ней бессмысленно чертит;
Но краски чуждые с летами
Спадают ветхой чешуей,
Созданье гения пред нами
Выходит с прежней красотой.

*Москва,
15 октября 1895 г.*

⁵⁸ Яростно нападая на «Неделю» и «Русские Ведомости» за разоблачения злоупотреблений и противозаконных поступков земских начальников, «Гражданин» видит в этом исполнении долга печати лишь одно «колебание авторитета и гнусное и мерзкое ремесло шпионов и сыщиков печати, подкапывающихся под учреждение почившего государя» («Гражд.» 14 сентября 1895 г.). Этот знаменитый своим цинизмом и мракобесием привилегированный орган бесшабашных крепостников, живший, вопреки основному завету честной литературы (см. ниже предисловие к 3-му изданию), весь свой короткий и бесславный век литературным сыском, осмеливается еще обвинять других в «гнусном и мерзком ремесле шпионов и сыщиков»! Достойную отповедь дает этому своевременно погибающему, по недостатку казенных кормов, рышарю кулачного права, составлявшему позор и унижение нашей печати, «Неделя». В статье своей от 1 октября 1895 г. почтенная газета, между прочим, пишет: «В статье кн. Мещерского, как всегда, удивителен цинизм, с каким он относился к своей публике. Очевидно, он высказывает подобный вздор только в расчете на ограниченность своих слушателей, на полное их простодушие. Газеты, видите ли, только потому нападают на земских начальников, что институт их введен в царствование покойного государя. Но ведь в Бозе почивший государь не только же этим институтом озаменовал свое царствование: последнее отличалось энергичною законодательною деятельностью. Почему же газеты избрали лишь одно и не самое крупное из его дел? И если говорить о недостатках учреждений есть, по мнению кн. Мещерского, сопротивление верховной власти, то возможно ли для русских людей какое бы то ни было суждение о нашей государственной жизни? Ведь вся она юридически вытекает из воли монарха, все малейшие учреждения и порядки действуют его именем. Значит, говорить, например, о недостатках волостного суда или полиции есть стремление «подкопаться» под верховную власть? Конечно, ни одна власть на свете не возьмет на себя такой безграничной ответственности, какую хочет возложить на нее усердный «Гражданин». Ответ свой глашатаю промотавшихся крепостников, этих, по выражению Белинского, друзей своих интересов и врагов общего блага, «Неделя» заканчивает такими словами: «Печально, что еще возможны разноречия в этом слишком элементарном вопросе: следует ли обнаруживать беззакония или не следует, можно ли мириться с кулачною расправою или нельзя. Все еще находятся у нас закоренелые крепостники, симпатизирующие приемам власти, уже исчезающим даже из диких азиатских стран, все еще держится взгляд на беззаконие, как на прерогативу администрации. Но закон называется «священным» не для того, чтобы любой, самый мелкий, исполнитель власти топтал его. Враги закона не те, кто обнаруживает нарушение его, а те, кто нарушают его, а также те, кто защищают, хотя бы и с деланной странностию, эти беспрерывные нарушения».

Р. S. из предисловия к 7-му изданию⁵⁹

В то время как заканчивалось печатание этой книги, опубликована была благотворительная мера, которую нельзя не отметить здесь с отрадным чувством. Новеллой 2 февраля 1898 г. вводится суд присяжных в Астраханской, Олонецкой, Уфимской и Оренбургской губерниях. Давно уже не было такого праздника на улице нового суда!.. Чтобы оценить все громадное значение этой меры, достаточно вспомнить, что с 1882 г. (после открытия Виленского округа) остановлено было дальнейшее распространение суда совести. Всего полтора года тому назад введены были в названных губерниях Судебные уставы в полном объеме, *за исключением*, однако, лучшего их украшения, а именно суда присяжных. Официально оправдывалось это *privilegium odiosum*, это злополучное изъятие редкостью населения и другими «местными» условиями. Но так как эти условия ничем существенным не отличались от соседних губерний, где благополучно действовал суд присяжных, введенный с 70-х гг., то естественно рождалось предположение, что решающее значение имело недоверие к этому институту, особенно усилившееся в 80-х гг., благодаря ожесточенным нападкам реакционной печати.

В это время, по справедливому замечанию А. Ф. Кони, заведена была для суда присяжных особая фальсифицированная бухгалтерия, по которой «на странице кредита *умышленно ничего* не писалось, на страницу же дебета вписывался каждый промах крупным каллиграфическим почерком». Ненавистники нового гласного и равного для всех суда в своем свирепом натиске на новый суд, смешивая его с грязью, дошли до того, что даже кровавое событие 1 марта ставили ему в вину. Чуждый всякого увлечения либерализмом, И. С. Аксаков не мог равнодушно видеть такое наглое попираание основ разумного правопорядка и с негодованием говорил об этих благонамеренных панегиристах дореформенного строя: «Газеты и газетки хором ревут на суды: *ату его, ату!* глумятся, ругают, мечут в грязь со свистом и хохотом весь судебный персонал, весь судебный институт с прошлым и настоящим, как будто кто им задал задачу не только поколебать, но и омерзить его, сделать ненавистным в народных понятиях». Указывая далее на то, что десятки тысяч дел решаются судом присяжных с идеальным бесстрашием, честный публицист с умилением восклицал: «Сладкая, благодатная уверенность... Россия ли отплатит за это неблагодарностью!». Но голос немногих защитников суда присяжных заглушался крикливым хором монополистов благонамеренности и гражданского усердия.

Во многом бесцеремонные нападки реакционной печати возымели при Н. А. Манасине практические последствия. Издание известной Манасиновской новеллы 12 июля 1889 г., изъязвившей множество дел из ведения суда присяжных, было приветствовано врагами суда присяжных, как признание несостоятельности самого института суда присяжных и предварение скорой окончательной отмены «суда улицы». Малодушные друзья, как обыкновенно водится, постарались вовремя «поумнеть» и отречься от суда присяжных и других основ правосудия, как от чужих «зловредных либеральных бредней».

Учреждение под председательством Н. В. Муравьева большой Судебной комиссии и первые шаги ее в 1895 г. послужили началом постепенного рассеяния тумана и террора, распространяемого врагами нового суда. Но сумятица в понятиях была еще так велика, что автор известного труда о суде присяжных А. М. Бобрищев-Пушкин еще летом 1896 г. писал в предисловии: «Чрезвычайная серьезность переживаемого нами периода русской юридической жизни характеризуется выражением – за русский суд страшно, именно за суд вообще, а не только за суд присяжных». Опубликование работ названной Судебной комиссии, свидетелевавшее о победе огромного большинства решительных сторонников суда совести над горстью врагов и двусмысленных друзей его, сильно порадовало его почитателей. Вышеупомянутая же новелла

⁵⁹ Содержание предисловия вошло в состав статьи о Белинском (см. ниже).

2 февраля знаменует, будем надеяться, окончательную победу суда присяжных, который так долго держался в подозрении и в черном теле, и нападки на который составляли непрременную обязанность «благонамеренной» публицистики.

Не поучительна ли история судеб этого благого учреждения, лишней раз показывающая вред малодушного отчаяния! Еще в 1889 г. собирались враги суда присяжных при двусмысленном поведении неискренних его друзей... похоронить это вредное наваждение либерализма и доктринерства. Немного терпения, – не проходит и 10 лет, – и туман начинает рассеиваться, вера в правду и разум русского народа берет верх и Созданье гения пред нами

Выходит с прежнею красотою!

По поводу этого скромного, но знаменательного торжества судебной правды, невольно приходят на ум слова Аксакова:

... Мы грубой ложью
Затмить не в силах правду Божию;
Так ярк свет ее вдали!..

Так и хочется повторить еще раз сказанное в предисловии к 1-му изданию *dum spiro spero*, – пока жив, надеюсь, – но, конечно, при одном условии: при неустанной и бодрой работе всех, кому дороги заветы Белинского, кому дороги гуманно-освободительные принципы преобразовательной эпохи.

*Москва,
март, 1898 г.*

К 40-й годовщине смерти Грановского (1855 – 4 октября 1895)

*Царил он мыслию в веках,
Седую вызывая древность,
И воспалял в младых сердцах
К общественному благу ревность!*

Рылеев

С Грановским мне всегда и тепло, и светло.

Белинский

Мне кажется, что я могу действовать именно словом. Что такое дар слова, красноречие? У меня есть оно, потому что у меня есть теплая душа и убеждения. Я уверен, что меня будут слушать студенты.

Грановский (1838 г.)

Прежде всего человечность, – сказал Грановский, – и за одно это слово о нем никогда не забудут в России.

Проф. П. Виноградов

Когда вслед за потухавшею кровавою зарею, бросавшею печально-назидательный свет на развалины Севастополя и обломки старого крепостнического строя, начинает заниматься над Россиею заря возрождения и всестороннего обновления, в это именно время неожиданно для всех угасает в Москве великий светильник науки, профессор Т. Н. Грановский, распространивший вокруг себя едва мерцающий свет и теплоту среди окружающего мрака дикого, свирепого обскурантизма сороковых годов – и тьма его не объят! В то самое время как этот благородный и неодолимый поборник свободы и человечности, с завистью смотревший на смерть Белинского⁶⁰ и почти единолично оборонявший с 1848 г. против все возрастающего напора торжествующего мракобесия интересы русского просвещения, – должен был, наконец, свободно вздохнуть, в то самое время, когда этот пламенный патриот, испивший до дна чашу страданий при виде разгула хищнических поползновений администрации и дворянства времен осады Севастополя⁶¹, только что завидев

⁶⁰ Уже в августе 1848 г. пишет Грановский Фролову: «С каждым днем чувствую более и более необходимость труда. Жизнь становится тяжела без него. Сердце беднеет, верования и надежды уходят. Подчас глубоко завидую Белинскому, вовремя ушедшему отсюда. Скучно жить, Фролов! Если бы не жена...» В разгар потерявшей голову реакции 40-х годов (см. ниже главу XXV § Тихонравов), думавшей сначала закрыть все университеты и кончившей установлением комплекта студентов в 300 человек, Грановский писал: «Есть отчего сойти с ума. Благо Белинскому, умершему вовремя. Много порядочных людей впали в отчаяние и с тупым спокойствием смотрят на все происходящее – когда же развалится этот мир... Я решился не идти в отставку и ждать на месте совершения судьбы. Кое-что можно делать, пусть выгоняют сами». См. Т. Н. Грановский. Биографический очерк А. Станкевича. М., 1869. Ст. 237, 239.

⁶¹ Пораженный беззащитными хищениями администрации, Грановский пишет с юга 19 сентября 1855 г.: «Еще год войны, и вся южная Россия разорена, надобно самому съездить да посмотреть, что там делается. Когда правительство требует рубль, местное начальство распорядится так, что заставит народ заплатить втрое, и все это бессмысленно и подло». Не лучшие порядки застал он и в Москве в передовом дворянском сословии. Из Москвы он писал: «Трудно себе представить что-нибудь более отвратительное и печальное. Я не признавал большого патриотизма и благородства в русском дворянстве, но то, что я слышал, далеко превзошло мои предположения. Богатые или достаточные дворяне без зазрения совести откупались от выборов; кандидаты в должности начальников дружин еще до избрания проповедывали о необходимости предоставить начальникам ополчения обмундировку ратников и не скрывали своих видов на поправление обстоятельств, и при этом такая тупость, такое отсутствие понятия о чести». Единственно, что утешало Грановского среди оргии «благонамеренного казно-

Зарю святого искупления,

с юношеским жаром готовился к энергичному участию⁶² в великом деле искупления бесчисленных грехов предшествовавшей эпохи, – в это самое время внезапно порвалась нить этой драгоценной для мыслящей России жизни.

Грановскому не дано было вымолвить заветное: «ныне отпускаеши!» и он, как сказал 4 октября 1895 г. на его могиле студент Ковалевский в своих прочувствованных стихах:

...кончил свой тернистый путь
На утре новой русской жизни,
И не успел он отдохнуть
В своей избавленной отчизне.

Редко чья смерть вызывала столько искреннего, жгучего общественного горя, как разнесшаяся по Москве 4 октября 1855 г. весть о кончине Грановского, которого накануне еще видели бодрым и близким к полному выздоровлению⁶³, и исчезновение которого в особенности в такую критическую пору русской общественности образовало невосполнимую нравственную пустоту не только для университета, но и для всего русского общества.

Грановский был первоклассный историк своего времени⁶⁴. Но бывали в России историки, не менее ученые и до, и после Грановского; в чем же секрет того огромного нравственного влияния, того беспримерного нравственного авторитета, которым пользовался Грановский не только у боготворившей его университетской молодежи, но и среди разнообразных слоев русского образованного общества, и которому импонировало даже недовольное⁶⁵ им за вольнодумство учебное начальство? Секрет такого редкого небывалого нравственного обаяния личности ученого, которая невольно исторгала дань уважения даже и у известного своими сыскными наклонностями черствого обскуранта⁶⁶ министра народн. просв, кн. Ширинского-Шахматова, – в отрешенности Грановского от соображений личной карьеры, в фанатической преданности его интересам науки и человечности и в беззаветном служении своему народу.

крадства», это встреча с бывшими его слушателями в составе нижегородского ополчения. Он узнал от них, что «ни один из воспитанников Московского университета не уклонился от выборов; все пошли, зато другие смеялись над ними». «Я гордился в эту минуту, – добавляет Грановский, – званием профессора Московского университета». См. н. биограф. очерк. 282, 292. Вот каковы оказались плоды тех «развращающих лекций» западнического направления, на которые писали доносы «патриоты своего отечества», факультетские товарищи Грановского из славянофильского лагеря. В одном «патриотическом» послании в стихах, появившемся в Москве, прямо говорилось, что противники славянофилов: «изменники отечества, а Грановский – человек, растлевающий юношей своим учением». Там же, 141.

⁶² Чужим своим тонким историческим провидением предстоящее обновление России, Грановский выработывал план самых разнообразных научно-литературных начинаний: «Я чувствую себя таким бодрым, – говорил он летом 1855 г., – каким давно не был, в таком настроении, в каком бывал обыкновенно перед *coup-de-tete*. Они всегда удавались и теперь готов на *coup-de-tete*, который совершенно изменит мою жизнь». Там же, 287.

⁶³ Еще утром 4 октября Грановский читал Перренса *Jerome Savanarole* и говорил о предстоящем курсе публичных лекций. Там же, 298.

⁶⁴ См. отзыв проф. Виноградова в статье его в «Русской Мысли» (1893, апрель), выдвигающий главным образом способность Грановского к синтезу (с. 44–45).

⁶⁵ Грановский если не разубедил, то остановил попытку вандализма кн. Ширинского-Шахматова, изгнавшего из гимназий классические языки и проектировавшего такой учебник истории, который, между прочим, должен был исключить весь республиканский период истории Рима. Там же, 248–249.

⁶⁶ Никитенко называет управление Ширинского мин. народного просвещения «помрачающим» (см. ниже гл. IV прим.).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.